

# МАРСЕЛЬ ПРУСТ

В СТОРОНУ  
СВАНА

Марсель Пруст  
**В сторону Свана**

«Public Domain»

1913

УДК 821.133.1  
ББК 84 (4Фра)

**Пруст М.**

В сторону Свана / М. Пруст — «Public Domain», 1913

ISBN 978-5-17-095635-7

«В сторону Свана» – первая книга цикла «В поисках утраченного времени». История трагической любви, интеллектуального прозрения и – эпохи, по словам Андре Моруа, «полной печального очарования обреченности». Мир еще прекрасен... Есть еще время наслаждаться каждым мгновением... Еще ничего не кончилось!

УДК 821.133.1

ББК 84 (4Фра)

ISBN 978-5-17-095635-7

© Пруст М., 1913  
© Public Domain, 1913

# Содержание

Часть первая	6
I	6
II	32
Конец ознакомительного фрагмента.	68

# Марсель Пруст В сторону Свана

*Гастону Кальмету в знак глубокой сердечной признательности*  
**Марсель Пруст**

Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust  
Du côté de chez Swann, 1913  
© ООО Издательство «АСТ», 2016

## Часть первая Комбре

### I

Давно уже я стал ложиться рано. Иногда, едва только свеча была потушена, глаза мои закрывались так быстро, что я не успевал сказать себе: «Я засыпаю». И полчаса спустя мысль, что пора уже заснуть, пробуждала меня: я хотел положить книгу, которую, казалось мне, я все еще держу в руках, и задуть огонь; я не переставал во время сна размышлять о только что мною прочитанном, но эти размышления принимали несколько своеобразный оборот, – мне казалось, что я сам являюсь тем, о чем говорила книга; церковью, квартетом, соперничеством Франциска I и Карла V. Это представление сохранялось у меня в течение нескольких секунд по пробуждении; оно не оскорбляло моего рассудка, но покрывало, словно чешуя, мои глаза и мешало им отдать отчет в том, что свеча больше не горит. Затем оно начинало становиться мне непонятным, как после метемпсихозы, сознание прежнего существования; сюжет книги отрывался от меня, я был свободен приобщать себя к нему или нет; тотчас зрение возвращалось ко мне, и я бывал очень изумлен тем, что находил вокруг себя темноту, мягкую и успокоительную для моих глаз, но, может быть, еще больше для моего ума, которому она казалась чем-то беспричинным, непонятным, чем-то поистине темным. Я спрашивал себя, который может быть час; до меня доносились свистки поездов, более или менее отдаленные, и, отмечая расстояние, подобно пению птицы в лесу, они рисовали мне простор пустынного поля, по которому путешественник спешит к ближайшей станции; и глухая дорога, по которой он едет, запечатлелась в его памяти благодаря возбуждению, которым он обязан незнакомым местам, непривычным действиям, недавнему разговору и прощанию под чуждым фонарем, все еще сопровождающим его в молчании ночи, и близкой радости возвращения.

Я нежно прижимался щеками к мягким щекам подушки, полным и свежим, словно щеки нашего детства. Я чиркал спичкой, чтобы посмотреть на часы. Скоро полночь. Это пора, когда больной, который должен был отправиться в путешествие и которому пришлось слечь в незнакомой гостинице, разбуженный кризисом, радуется замеченной им под дверью полоске света. Какое счастье, уже утро! Через несколько мгновений встанут слуги, он может позвонить, к нему придут и подадут ему помощь. Надежда получить облегчение дает ему мужество переносить страдание. Как раз в эту минуту ему показалось, что он слышит шаги; шаги приближаются, затем удаляются. И полоска света, видневшаяся под дверью, исчезла. Это полночь; приходили гасить газ; последний слуга ушел, и придется всю ночь мучиться, не получая помощи.

Я снова засыпал, и иногда после этого у меня бывали лишь краткие пробуждения, во время которых я успевал только услышать потрескивание деревянных панелей, открыть глаза и запечатлеть калейдоскоп темноты, почувствовать, благодаря мгновенному проблеску сознания, сон, в который бывали погружены мебель, комната, все окружающее, которого я являлся лишь незначительной частью и с бесчувственностью которого я вскоре снова сливался. Или же, засыпая, я без усилия переносился в навсегда ушедшую эпоху моей ранней юности, снова переживая какой-нибудь из моих детских страхов, например то, что мой двоюродный дедушка оттакает меня за вихры, страх, исчезнувший в день – дата для меня новой эры, – когда меня остригли. Я забывал об этом событии во время моего сна и снова вспоминал о нем вскоре после того, как мне удавалось проснуться, чтобы ускользнуть из рук двоюродного дедушки; все же из предосторожности я совсем зарывался головой в подушку перед тем, как возвратиться в мир сновидений.



Иногда, подобно Еве, родившейся из ребра Адама, во время моего сна рождалась женщина из неудобного положения, в котором я лежал. Ее создавало наслаждение, которое я готов был вкусить, а мне казалось, что это она мне доставляла его. Тело мое, чувствовавшее в ее теле мою собственную теплоту, хотело соединиться с ней, и я просыпался. Остальные люди казались мне чем-то очень далеким рядом с этой женщиной, покинутой мною всего несколько мгновений тому назад; щека моя еще пылала от ее поцелуя, тело было утомлено тяжестью ее тела. Если, как это случалось иногда, у нее бывали черты какой-нибудь женщины, с которой я был знаком наяву, я готов был всего себя отдать для достижения единственной цели: вновь найти ее, подобно тем людям, что отправляются в путешествие, чтобы увидеть собственными глазами какой-нибудь желанный город, и воображают, будто можно насладиться в действительности прелестью грез. Мало-помалу воспоминание о ней рассеивалось, я забывал деву моего сновидения.

Во время сна человек держит вокруг себя нить часов, порядок лет и миров. Он инстинктивно справляется с ними, просыпаясь, в одну секунду угадывает пункт земного шара, который он занимает, и время, протекшее до его пробуждения; но они могут перепутаться в нем, порядок их может быть нарушен. Пусть перед утром, после часов бессонницы, сон овладеет им во время чтения, в позе очень отличной от той, в которой он спит обыкновенно, тогда достаточно ему поднять руку, чтобы остановить солнце и повернуть его вспять, и в первую минуту по пробуждении он не узнает часа, ему будет казаться, что он сию минуту только прилег. Если же он заснет в еще более необычной и несвойственной ему позе, например после обеда, сидя в кресле, тогда в мирах, вышедших из орбит, все перепутается, волшебное кресло со страшной скоростью помчит его через время и пространство, и в момент, когда он поднимет веки, ему покажется, что он лег несколько месяцев тому назад в другом месте. Но достаточно бывало, чтобы, в моей собственной постели, сон мой был глубоким и давал полный отдых моему уму; тогда этот последний терял план места, в котором я заснул, и когда я просыпался среди ночи, то, не соображая, где я, я не сознавал также в первое мгновение, кто я такой; у меня бывало только, в его первоначальной простоте, чувство существования, как оно может брезжить в глубине животного; я бывал более свободным от культурного достояния, чем пещерный человек; но тогда воспоминание – еще не воспоминание места, где я находился, но нескольких мест, где я жил и где мог бы находиться, – приходило ко мне как помощь свыше, чтобы извлечь меня из небытия, из которого я бы не мог выбраться собственными усилиями: в одну секунду я пробежал века культуры, и смутные представления керосиновых ламп, затем рубашек с отложными воротничками мало-помалу восстанавливали своеобразные черты моего «я».

Быть может, неподвижность предметов, окружающих нас, навязана им нашей уверенностью, что это именно они, а не какие-нибудь другие предметы, неподвижностью нашей мысли по отношению к ним. Ибо всегда случалось, что, когда я просыпался таким образом, деятельно, но безуспешно стараясь определить своим рассудком, где я, все вращалось вокруг меня во тьме: предметы, местности, годы. Тело мое, слишком онемевшее для того, чтобы двигаться, старалось, по форме своей усталости, определить положение своих членов, чтобы заключить на основании его о направлении стены, о месте предметов обстановки, чтобы воссоздать и назвать жилище, в котором оно находилось. Память его, память его боков, колен, плеч, последовательно рисовала ему несколько комнат, в которых оно спало, между тем как вокруг него, меняя место соответственно форме воображаемой комнаты, вращались в потемках невидимые стены. И прежде даже, чем мое сознание, которое стояло в нерешительности на пороге времен и форм, успевало отождествить помещение, сопоставляя обстоятельства, оно – мое тело – припоминало для каждого род кровати, место дверей, расположение окон, направление коридора, вместе с мыслями, которые были у меня, когда я засыпал, и которые я снова находил при пробуждении. Мой онемевший бок, пытаясь угадать свое положение в пространстве, воображал себя, например, вытянувшимся у стены в большой кровати с балдахином, и тотчас я говорил

себе: «Вот как, я не выдержал и уснул, хотя мама не пришла пожелать мне покойной ночи», — я был в деревне у дедушки, умершего много лет тому назад; и мое тело, бок, на котором я лежал, верные хранители прошлого, которое уму моему никогда не следовало бы забывать, приводили мне на память пламя ночника из богемского стекла в форме урны, подвешенного к потолку на цепочках, камин из сиенского мрамора в моей спальне в Комбре, у моих дедушки и бабушки, в далекие дни, которые в этот момент я воображал себе настоящими, не представляя их себе точно, и которые я увижу яснее сейчас, когда совсем проснусь.

Затем воскресало воспоминание нового положения; стена тянулась в другом направлении — я был в своей комнате у г-жи де Сен-Лу, в деревне: Боже мой! Уже, по крайней мере, десять часов, вероятно, обед уже окончен! Я слишком затянул мой послеполуденный сон, которому предаюсь каждый вечер по возвращении с прогулки в обществе г-жи де Сен-Лу, перед тем как переодеться во фрак. Ибо много лет прошло после Комбре, где, в самые поздние наши возвращения, красные отблески заката видел я на стеклах моего окна. Другой род жизни ведут в Тансонвиле, у г-жи де Сен-Лу, другой род удовольствия получаю я, выходя только ночью и бродя при лунном свете по тем дорогам, где я играл когда-то на солнце; и комната, в которой я усну вместо того, чтобы одеваться к обеду, видна мне издали, когда мы возвращаемся; освещенное лампой окно ее служит единственным маяком в ночи.

Эти клочки воспоминаний, кружащиеся и смутные, никогда не длились больше нескольких секунд; часто моя кратковременная неуверенность в месте, где я находился, отличала друг от друга различные предположения, из которых она состояла, не лучше, чем мы обособляем, видя бегущую лошадь, последовательные положения, которые нам показывает кинетоскоп. Но я мысленно видел то одну, то другую комнаты, в которых мне доводилось жить, и в заключение вспоминал их все в долгих мечтаниях, следовавших за моим пробуждением: зимние комнаты, где, улегшись в постель, зарываешь голову в гнездышко, которое устраиваешь себе из самых различных предметов: уголка подушки, ближайшей части одеял, конца шали, края кровати и номера вечерней газеты, и в заключение прочно скрепляешь все это вместе, согласно птичьим приемам, кое-как там примостившись; где, в морозную погоду, особенное удовольствие доставляет то, что чувствуешь себя отгороженным от внешнего мира (как морская ласточка, которая строит себе гнездо глубоко в земле, в земной теплоте), и где огонь поддерживается в камине всю ночь, так что спишь как бы укутанный широким плащом теплого и дымного воздуха, рассеяемого блеском вспыхивающих головешек, в каком-то неосязаемом алькове, теплой пещере, вырытой в пространстве самой комнаты, горячей и подвижной в своих термических очертаниях зоне, проветриваемой дуновениями, которые освежают нам лицо и исходят от углов, от частей, соседних с окном или удаленных от камина и потому охлажденных; комнаты летние, где так приятно слиться с теплой ночью, где лунный свет, проникнув через полуоткрытые ставни, бросает свою волшебную лестницу до самого подножия кровати, где спишь почти на открытом воздухе, как синица, раскачиваемая ветерком на кончике солнечного луча; иногда комната в стиле Людовика XVI, такая веселая, что даже в первый вечер я не был в ней слишком несчастен, и где колонки, легко поддерживавшие потолок, с такой грацией расступались, чтобы указать и приберечь место для кровати; иногда же, напротив, маленькая и такая высокая, пробуравленная в форме пирамиды в пространстве двух этажей и частью обшитая красным деревом, где с самой первой секунды я бывал внутренне отравлен незнакомым запахом ветиверии, убежденный во враждебности фиолетовых занавесок и наглом равнодушии стенных часов, которые стрекотали во весь голос, словно меня там не было; где странное и безжалостное зеркало на четырехугольных ножках, наискось перегораживая один из углов комнаты, болезненно врезывалось в мягкую полноту привычного для меня зрительного поля пустым местом, которое являлось там неожиданностью; где мое сознание, часами силясь раздаться, растянуться в высоту, чтобы приобрести в точности форму комнаты и заполнить доверху ее гигантскую воронку, страдало в течение многих тяжелых ночей, между тем как



я лежал в своей постели с открытыми глазами, с болезненно напряженным слухом, задыхаясь от тяжелого запаха, с бьющимся сердцем, пока наконец привычка не изменяла цвета занавесок, не заставляла замолчать часы, не научала жалости косое и жестокое зеркало, не заглушала, а то и вовсе прогоняла запах ветиверии и заметно не уменьшала кажущуюся высоту потолка. Привычка! Искусная целительница, врачующая, правда, медленно и сначала равнодушно глядящая на наши страдания по целым неделям в помещениях, где мы временно пребываем, но которую, несмотря на все, так радостно бывает приобрести, ибо без привычки, при помощи одних только усилий разума, мы не могли бы сделать пригодным для жизни ни одно помещение.

Конечно, теперь я уже совсем проснулся, тело мое описало последний круг, и добрый ангел уверенности остановил все кругом меня, уложил меня под мои одеяла, в моей комнате, и поставил приблизительно на свои места в темноте мой комод, мой письменный стол, мой камин, окно на улицу и две двери. Но напрасно знал я теперь, что не нахожусь в жилищах, чей образ, представленный мне на мгновение неведением пробуждения, пусть не был отчетливым, все же заставил поверить в их возможное присутствие; памяти моей дан был толчок; обыкновенно я не пытался заснуть сразу же после этого; я проводил большую часть ночи в воспоминаниях о нашей прежней жизни, в Комбре у моей двоюродной бабушки, в Бальбеке, в Париже, в Донсьере, в Венеции и в других городах, припоминая места и людей, которых я знал там, то, что я сам видел из их жизни, и то, что мне рассказывали другие.

В Комбре, задолго до момента, когда мне нужно было ложиться в постель и оставаться без сна, вдали от матери и бабушки, моя спальня каждый вечер становилась пунктом, на котором сосредоточивались самые мучительные мои заботы. Так как вид у меня бывал очень уж несчастный, то кому-то из моих родных пришла в голову мысль развлекать меня волшебным фонарем, который, в ожидании обеденного часа, приспособляли к моей лампе: наподобие первых архитекторов и живописцев по стеклу готической эпохи, он заменял непрозрачные стены неосязаемыми радужными отражениями, сверхъестественными многокрасочными видениями, похожими на расписные церковные витражи, качавшиеся и появлявшиеся на миг. Но печаль моя лишь возрастала от этого, ибо простое изменение освещения разрушало привычку, приобретенную мною к моей комнате, благодаря которой, если не считать мучительных часов отхода ко сну, она стала для меня выносимой. Теперь я больше ее не узнавал и чувствовал себя в ней беспокойно, как в номере гостиницы или «шале», куда я приехал бы в первый раз, прямо с поезда.

Припрыгивающим шагом своей лошади Голо, исполненный злодейских замыслов, выезжал из маленького треугольного леса, бархатившего темной зеленою склон холма, и приближался, сотрясаясь, к замку бедной Женевьевы Брабантской. Этот замок был рассечен по кривой линии, являвшейся не чем иным, как границей одного из стеклянных овалов, вставленных в рамку, которую задвигали в щель фонаря. Это был только кусок замка, и пред ним расстилался луг, на котором с задумчивым видом стояла Женевьева, одетая в платье с голубым поясом. Замок и луг были желтые, и я знал заранее их цвет, потому что, еще до появления картины на стене, отливающие старым золотом звуки слова *Брабант* с очевидностью показывали мне его. Голо на мгновение останавливался, чтобы с грустным видом выслушать объяснение, которое громко прочитывала моя двоюродная бабушка и которое он, казалось, понимал в совершенстве, послушно согласуя с указаниями текста свою позу, не лишенную некоторой величественности; затем он удалялся тем же припрыгивающим шагом. И ничто не в силах было остановить его медленное движение верхом на лошади. Если фонарь шевелили, я видел, как лошадь Голо продолжает двигаться по оконным занавескам, выпячиваясь на их складках и прячась в углублениях. Тело самого Голо, из вещества столь же сверхъестественного, как и вещество его лошади, приспособлялось к каждому препятствию, к каждому встречавшемуся на его пути предмету, делая из него свой остов и наполняя своим содержанием, будь то даже

ручка двери, к которой тотчас прилаживались и на которую неодолимо наплывали его красное платье или его бледное лицо, все такое же благородное и такое же меланхоличное и, по-видимому, несколько не смущаемое подобными перевоплощениями.

Правда, я находил очаровательными эти световые образы, излучавшиеся, казалось, из мерovingского прошлого и окружавшие меня отблесками такой седой старины. Но мне причиняло какое-то невыразимое беспокойство это вторжение тайны и красоты в комнату, которую я с течением времени наполнил своим «я» до такой степени, что обращал на нее так же мало внимания, как на самого себя. Когда прекращалось анестезирующее влияние привычки, я начинал размышлять, начинал испытывать невеселые чувства. Эта дверная ручка моей комнаты, отличавшаяся для меня от всех других дверных ручек мира тем, что, казалось, открывала сама и мне не приходилось поворачивать ее, до такой степени манипуляции с ней сделались для меня бессознательными, – вот она служила теперь астральным телом Голо. И как только раздавался звонок к обеду, я торопливо бежал в столовую, где большая висячая лампа, ничего не ведавшая о Голо и Синей Бороде, но знавшая моих родных и тушеное мясо, давала свой свет каждый вечер; я спешил упасть в объятия мамы, которую несчастья Женевьевы Бабантской делали мне еще более дорогой, тогда как преступления Голо побуждали тщательнее исследовать мою собственную совесть.

После обеда, увы, я должен был сейчас же покинуть маму, которая оставалась разговаривать с другими, в саду, если бывала хорошая погода, или в маленькой гостиной, куда все удалялись, если небо хмурилось. Все, кроме моей бабушки, которая находила, что «сидеть в деревне в комнатах – преступление», и постоянно вступала в спор с моим отцом в дни, когда шел сильный дождь, так как отец запрещал мне оставаться на дворе и отсылал в мою комнату почитать. «Таким способом вы не сделаете его крепким и энергичным, – говорила она печально, – особенно этого малыша, которому так необходимо закалить свои силы и волю». Отец пожимал плечами и бросал взгляд на барометр, так как интересовался метеорологией, мать же, избегая поднимать шум, чтобы не сердить его, смотрела на него с нежной почтительностью, но не слишком пристально, чтобы не казалось, будто она хочет проникнуть в тайну его превосходства. Но что касается бабушки, то во всякую погоду, даже когда дождь лил как из ведра и Франсуаза поспешно вносила в комнаты драгоценные ивовые кресла из страха, как бы они не намокли, ее можно было видеть в пустом саду, под проливным дождем, откидывающей назад растрепанные пряди седых волос, чтобы лучше напитать лоб целительной силой ветра и дождя. Она говорила: «Наконец-то можно дышать!» – и обегала намокшие дорожки, – проведенные слишком симметрично, по собственному вкусу, лишенным чувства природы новым садовником, которого отец мой спрашивал с утра, установится ли погода, – своими мелкими шажками, восторженными и неровными, которые размерялись скорее разнообразными чувствами, возбуждавшимися в душе ее опьянением грозой, могуществом гигиены, уродливостью моего воспитания и симметрией сада, нежели неведомым ей желанием предохранить свою юбку цвета сливы от брызг грязи, испещривших ее до такой степени, что горничная при виде ее всегда бывала озадачена и приходила в отчаяние.

Если эти рейсы бабушки по саду происходили после обеда, то одна вещь способна была заставить ее вернуться, именно: голос моей двоюродной бабушки, кричавшей ей: «Батильда! Иди скорее, запрети своему мужу пить коньяк!» – в один из моментов, когда круговое движение ее прогулки периодически приводило ее, словно насекомое, к освещенным окнам маленькой гостиной, где были сервированы на ломберном столе ликеры. Действительно, чтобы подразнить ее (она вносила в семью моего отца дух настолько своеобразный, что все подшучивали над ней и дразнили ее), моя двоюродная бабушка побуждала дедушку, которому спиртные напитки были запрещены, выпить несколько капель коньяку. Бедная бабушка входила и горячо упрашивала своего мужа не пробовать коньяку; он сердился, выпивал, несмотря на угрозы, свой глоток, и бабушка уходила, печальная, обескураженная, но с улыбкой на лице, ибо

она была настолько смиренна сердцем и добра, что ее нежность к другим и пренебрежение к себе самой и своим страданиям выливались в ее взгляде в улыбку, которая, в противоположность тому, что видишь на лице большинства людей, содержала иронию лишь по отношению к себе самой, для нас же всех глаза ее посылали словно поцелуй: она не могла смотреть на тех, кого очень любила, не лаская их нежно взглядом. Эта пытка, которой подвергала ее моя двоюродная бабушка, это зрелище тщетных уговоров и слабости бабушки, наперед побежденной и напрасно пытающейся отнять у дедушки рюмку с коньяком, принадлежали к числу явлений, к которым впоследствии привыкаешь до такой степени, что смотришь на них со смехом и сам довольно решительно и весело становишься на сторону преследователя, убеждая себя, что тут нет речи о настоящем преследовании; однако в те времена все это наполняло меня таким отвращением, что я бы с удовольствием отколотил мою двоюродную бабушку. Но как только я слышал: «Батильда! Иди скорее, запрети твоему мужу пить коньяк!» – меня охватывало малодушие, и я делал то, что все мы делаем, ставши взрослыми, когда перед нами открывается зрелище страданий и несправедливости: я предпочитал не видеть его; я поднимался поплакать на самый верх дома, под самую крышу, в комнатку, расположенную рядом с классной и наполненную запахом ириса, а также дикой черной смородины, выросшей среди камней наружной стены и просунувшей ветку с цветами в полуоткрытое окно. Имевшая назначение более специальное и более прозаическое, комната эта, откуда днем открывался вид до замковой башни Руссенвиль-ле-Пен, долгое время служила мне убежищем, – несомненно потому, что она была единственной, которую мне было позволено запирать на ключ, – для тех моих занятий, которые требовали ненарушимого одиночества: чтения, мечтаний, слез и наслаждения. Увы, я не знал, что гораздо больше, чем маленькие нарушения режима мужем, бабушку мою озабочивали мое слабование, мое слабое здоровье и обусловленная ими неверность моего будущего, о котором она размышляла во время этих бесконечных послеполуденных или вечерних прогулок, когда можно было видеть, как то появляется, то исчезает склоненное набок и несколько откинутае назад прекрасное ее лицо с коричневыми изборожденными морщинами щеками, ставшими с наступлением старости почти лиловыми, словно пашня осенью, прикрытыми, когда она выходила на улицу, наполовину приподнятой вуалью, причем на них, вызванная холодом или печальной мыслью, всегда высыхала невольная слеза.

Моим единственным утешением, когда я поднимался наверх ложиться спать, было ожидание мамы, приходившей поцеловать меня в постели. Но это пожелание спокойной ночи длилось так недолго, она так скоро спускалась обратно, что момент, когда я слышал, как она поднимается по лестнице, затем как по коридору, за двойной дверью, раздается легкий шелест ее летнего домашнего платья из голубого муслина, украшенного шнурочками плетеной соломой, был для меня моментом мучительным. Он возвещал мне о моменте, который наступит вслед за ним, когда она покинет меня, когда она будет спускаться обратно. В результате я стал желать, чтобы это прощание, которое я так любил, произошло как можно позже и время, пока мама еще не пришла, затянулось. Иногда, в то мгновение, когда, поцеловав меня, она открывала дверь, чтобы уйти, мне хотелось снова позвать ее, сказать ей: «Поцелуй меня еще раз», но я знал, что после этого лицо ее станет сердитым, ибо уступка, которую она делала моей печали и моему возбуждению, поднимаясь поцеловать меня, принося мне этот поцелуй мира, раздражала моего отца, находившего этот ритуал нелепым, и она хотела как-нибудь отучить меня от этой потребности, от этой привычки и вовсе не была склонна поощрять во мне другую дурную привычку: просить ее, когда она ступала уже на порог, еще раз поцеловать меня. А ее рассерженное лицо разрушало весь покой, который за мгновение перед этим она приносила мне, когда наклоняла к моей постели свое любящее лицо и подавала мне его, как гостию, для причастия мира, в котором мои губы вкушали реальность ее присутствия, дававшего мне силу уснуть. Но эти вечера, когда мама оставалась в моей комнате, в общем, так мало времени, были еще сладкими по сравнению с вечерами, когда к обеду ожидали гостей и когда, по этой при-

чине, она не поднималась прощаться со мной. Гостем бывал обыкновенно г-н Сван, который, помимо нескольких случайных посетителей, был почти единственным лицом, приходившим к нам в Комбре, иногда к обеду по-соседски (что бывало сравнительно редко после этой странной его женитьбы, так как мои родители не хотели принимать его жену), иногда после обеда, без приглашения. Когда вечером, в то время как мы сидели перед домом под большим каштаном вокруг железного стола, к нам доносился с конца сада не громкий и залихватый звон бубенчика, окроплявший и оглушавший своим металлическим, неиссякаемым и ледяным дребезжанием всех домашних, входивших и отворявших калитку «не позвонившись», но двукратное робкое, овальное и золотистое, звяканье колокольчика для чужих, то все вдруг спрашивали себя: «Гости! Кто б это мог быть?» – хотя все отлично знали, что это мог быть только г-н Сван; моя двоюродная бабушка, во весь голос, чтобы подать нам пример, тоном, который она силилась сделать естественным, говорила нам, чтобы мы перестали шушукаться, так как это крайне невежливо по отношению к посетителю, могущему подумать, что мы говорим сейчас вещи, которые он не должен слышать; на разведки посылалась бабушка, радовавшаяся всякому предлогу пройтись лишний раз по саду и пользовавшаяся им для того, чтобы украдкой вырвать по пути из-под розовых кустов несколько подпорок и придать им таким образом немножко естественности, словно мать, проводящая рукой по голове сына, чтобы взбить ему волосы, которые парикмахер слишком пригладил.

Мы все сидели в ожидании известий о неприятеле, которые должна была доставить нам бабушка, словно был открыт выбор из большого числа возможных врагов, и вскоре дедушка говорил: «Узнаю голос Свана». В самом деле, его узнавали только по голосу; лицо его, с горбатым носом, зелеными глазами, высоким лбом и светлыми, почти рыжими волосами, причесанными на пробор *a la Bressant*, было трудно разглядеть, так как мы зажигали по возможности меньше света в саду, чтобы не привлекать moskitov, и я как ни в чем не бывало шел сказать, чтобы подавали сиропы; бабушка придавала большое значение тому, чтобы не казалось, будто они красуются на столе в виде исключения, только по случаю прихода гостей; она находила, что так будет любезнее. Г-н Сван, несмотря на большую разницу лет, был очень близок с моим дедушкой, являвшимся одним из лучших друзей его отца, человека превосходного, но странного, которому, казалось, достаточно было иногда самого ничтожного пустяка, чтобы охладить его сердечный порыв или изменить течение мысли. Несколько раз в год мне доводилось слышать, как дедушка рассказывал за столом все одни и те же анекдоты относительно поведения г-на Свана-отца в момент смерти жены, от постели которой он не отходил ни днем, ни ночью. Дедушка, который перед этим долго не виделся с ним, поспешил к нему в усадьбу Сванов, расположенную в окрестностях Комбре, и ему удалось выманить своего друга, заливавшегося слезами, из комнаты, где лежала покойница, на то время, когда ее клали в гроб. Они сделали несколько шагов по парку; светило солнце. Вдруг г-н Сван, схватив дедушку под руку, вскричал: «Ах, мой старый друг, какое счастье прогуляться вместе в такую прекрасную погоду! Разве вы не находите красивыми все эти деревья, этот боярышник и новый пруд, с устройством которого вы никогда меня не поздравляли? Экий вы ночной колпак. Чувствуете вы этот ветерок? Ах, что там ни говори, в жизни все же много хорошего, дорогой мой Амедей!» Тут старик внезапно вспомнил о только что скончавшейся жене и, находя, вероятно, очень сложным доискиваться, как он мог в подобную минуту дать увлечь себя радостному порыву, удовольствовался тем, что жестом, который он обыкновенно делал каждый раз, когда перед умом его вставал трудный вопрос, провел рукою по лбу и стал протирать глаза и стекла своих очков. Он не мог утешиться в смерти своей жены, но в течение двух лет, на которые он пережил ее, постоянно говорил дедушке: «Как это странно: я очень часто думаю о моей бедной жене, но не могу много думать о ней сразу». «Часто, но каждый раз понемногу, как бедный папаша Сван» – стало одной из излюбленных фраз дедушки, произносившего ее по самым различным поводам. Мне могло бы показаться, что отец Свана был чудовищем, если бы дедушка, которого

я считал безупречным судьей и приговор которого, являясь для меня законом, часто служил мне впоследствии основанием прощать проступки, подлежащие, с моей точки зрения, осуждению, не восклицал: «Да что ты! У него было золотое сердце!»

В течение многих лет – хотя г-н Сван-сын часто навещал в Комбре мою двоюродную бабушку и родителей моей матери, особенно перед своей женитьбой, – мои родные не подозревали, что он вовсе перестал бывать в обществе лиц, с которыми поддерживала близкие отношения его семья, и что под видом инкогнито, каковым служила для нас фамилия Сван, они принимали у себя – с простодушием честных содержателей гостиницы, дающих приют у себя, не подозревая об этом, знаменитому разбойнику, – одного из самых элегантных членов Жокей-клуба, ближайшего друга графа Парижского и принца Уэльского, одного из самых обласканных завсегдатаев великосветских салонов Сен-Жерменского предместья.

Неведение, в котором мы пребывали насчет этой блестящей светской жизни Свана, конечно, отчасти было обусловлено его сдержанностью и скрытным характером, но в значительной степени оно объяснялось также и тем, что тогдашние буржуа имели несколько индийское представление об обществе и считали его состоящим из замкнутых каст, где каждый, с самого рождения, находил себя в положении, которое занимали его родители и откуда ничто, за исключением редких случаев блестящей карьеры или неожиданного брака, не способно было вытащить человека и открыть ему доступ в высшую касту. Г-н Сван-отец был биржевым маклером; Сван-сын на всю жизнь обречен был составлять часть касты, в которой состояния, как в категориях лиц, подлежащих обложению, варьируются между таким-то и таким-то доходом. Известен был круг знакомых его отца, известен был, следовательно, круг его собственных знакомств, круг лиц, с которыми «ему полагалось» водить знакомство. Если у него бывали и другие знакомства, то они принадлежали к числу тех знакомств молодого человека, на которые старые друзья его семьи, каковыми были мои родители, закрывали глаза тем более благожелательно, что он продолжал, с тех пор как стал сиротой, неизменно нас посещать; но можно было смело держать пари, что эти незнакомые нам люди, с которыми он виделся, принадлежали к числу лиц, которым он не посмел бы поклониться, если бы, находясь в нашем обществе, повстречался с ними. Если бы уж нужно было во что бы то ни стало характеризовать Свана каким-нибудь социальным коэффициентом, присущим ему лично, в отличие от других сыновей биржевых маклеров того же ранга, что и его родители, то этот коэффициент оказался бы для него несколько меньшим, потому что, будучи очень простым по внешности и всегда питая «слабость» к старинным предметам и картинам, он жил теперь в старом особняке, куда свез свои коллекции; моя бабушка все мечтала посетить этот особняк, но он был расположен на Орлеанской набережной, в квартале, который, по мнению моей двоюродной бабушки, было неприлично выбирать себе для жительства. «Действительно ли вы знаток? Я задаю вам этот вопрос в ваших интересах, потому что торговцы наверное водят вас за нос и сбывают вам всякую мазню», – говорила ему моя двоюродная бабушка; она действительно считала его совсем некомпетентным и была невысокого мнения также и об умственном уровне человека, который в разговоре избегал серьезных тем и выказывал большую осведомленность в самых прозаических вещах не только в тех случаях, когда входил в мельчайшие подробности даваемых нам кулинарных рецептов, но даже когда сестры моей бабушки заговаривали с ним на художественные темы. Когда они просили его высказать свое мнение, выразить свое восхищение какой-нибудь картиной, он хранил почти неприличное молчание и отыгрывался на том, что мог сообщить точные данные о музее, где эта картина находится, и о времени, когда она была написана. Но обыкновенно, желая развлечь нас, он ограничивался тем, что рассказывал каждый раз какую-нибудь новую историю, только что приключившуюся у него с людьми, wybranymi из наших знакомых: с аптекарем в Комбре, с нашей кухаркой, с нашим кучером. Конечно, анекдоты эти сместили мою двоюродную бабушку, но она не могла разобрать хорошенько, чем это объяснялось: смешной ли ролью, которую Сван неизменно принимал на себя в них, или

остроумием, с каким он их рассказывал: «Ну и тип же вы, можно сказать, господин Сван!» Так как она была единственным членом нашей семьи, отличавшимся некоторой вульгарностью, то старалась показать чужим, когда заходил разговор о Сване, что он мог бы, если бы захотел, жить на бульваре Осман или на авеню де л'Опера, что он был сыном г-на Свана, оставившего ему, вероятно, четыре или пять миллионов, и что если он живет на Орлеанской набережной, то это просто его причуда. Причуда, которую она, впрочем, считала до такой степени забавной в глазах посторонних, что когда г-н Сван приносил ей в Париже в Новый год традиционную коробку засахаренных каштанов, то она непременно говорила ему, если у нее были в то время гости: «Что же, господин Сван, вы по-прежнему живете подле винных складов, чтобы не опоздать на поезд, когда соберетесь ехать по Лионской железной дороге?» И она искоса посматривала поверх очков, какое впечатление произвели ее слова на других посетителей.

Но если бы моей двоюродной бабушке сказали, что этот Сван, который, в качестве Свана-сына, был вполне «квалифицирован» для того, чтобы быть принятым в любом «хорошем буржуазном доме», у самых почтенных парижских нотариусов или адвокатов (привилегия, которую он, по-видимому, несколько пренебрегал), вел, как бы тайком, жизнь совсем иного рода; что, выйдя от нас в Париже с заявлением, что он отправляется домой спать, он менял дорогу, едва только скрывшись за углом, и шел в такую гостиную, которую никогда не видели глаза ни одного маклера или биржевого дельца, – то это показалось бы моей двоюродной бабушке столь же неправдоподобным, как могла бы показаться какой-нибудь более начитанной даме мысль быть лично знакомой с Аристеем, относительно которого она знала бы, что после бесед с нею он погружается в лоно царства Фетиды, царства, недоступного взорам смертных, где, по рассказу Вергилия, его принимают с распростертыми объятиями; или – если взять для сравнения образ, имевший больше шансов прийти ей на ум, ибо она видела его нарисованным на наших десертных тарелочках в Комбре, – как мысль обедать за одним столом с Али-Бабой, который, удостоверившись, что он один, проникнет в пещеру, сверкающую сказочными сокровищами.

Однажды, придя к нам в Париже в гости откуда-то с обеда, Сван извинился, что был во фраке; когда Франсуаза сообщила после его ухода, со слов его кучера, что он обедал «у одной принцессы», – «Да, у принцессы полусвета!» – с веселой иронией ответила моя двоюродная бабушка, пожимая плечами и не поднимая глаз от своего рукоделия.

Словом, моя двоюродная бабушка обращалась с ним высокомерно. Так как она полагала, что Сван должен быть польщен нашими приглашениями, то находила вполне естественным, что летом он никогда не приходил к нам в гости без корзинки персиков или малины из своего сада и после каждого своего путешествия в Италию привозил мне фотографии шедевров искусства.

У нас в доме нисколько не стеснялись посылать за ним, когда нужно было узнать рецепт какого-нибудь изысканного соуса или ананасного салата для больших обедов, на которые его не приглашали, так как не находили в нем достаточного веса, чтобы им можно было блеснуть перед чужими людьми, приходившими в дом впервые. Если разговор касался принцев Французского королевского дома – «людей, с которыми мы никогда не будем водить знакомства, ни вы, ни я, и мы обойдемся без этого, не правда ли», – говорила моя двоюродная бабушка Свану, у которого лежало, может быть, в кармане письмо из Твикенгема; она заставляла его сопровождать и переворачивать страницы нотной тетради, когда сестра моей бабушки пела, пользуясь для мелких услуг этим человеком, в других местах столь ценным, – наивное варварство ребенка, играющего музейной вещью с такой беспечностью, словно дешевой рыночной безделушкой. Несомненно, тот Сван, которого знали в то время столько клубменов, был очень отличен от Свана, создаваемого воображением моей двоюродной бабушки, когда вечером, в маленьком садике в Комбре, после того как замолкали два негромких звяканья колокольчика, она напивалась и оживляла всем, что ей было известно о семье Сванов, темную и неясную фигуру, которая обрисовывалась вслед за бабушкой на фоне мрака и которую мы узнавали по



голосу. Но ведь даже в отношении самых незначительных мелочей повседневной жизни мы не являемся материальной вещью, тождественной для всех, с которой каждый может познакомиться, как с подрядными условиями или с завещанием; наша социальная личность создается мышлением других людей. Даже такой простой акт, как «видеть человека, с которым мы знакомы», является в значительной части актом интеллектуальным. Мы наполняем физическую внешность существа, которое мы видим, всеми ранее составившимися у нас понятиями о нем, и в целостной картине его, мысленно рисуемой нами, эти понятия несомненно играют преобладающую роль. В заключение они с таким совершенством надувают щеки, так точно следуют за линией носа, так хорошо примешиваются к нюансам звучности голоса – как если бы наш знакомый был только прозрачной оболочкой, – что каждый раз, как мы видим его лицо и слышим его голос, эти наши понятия суть то, что мы вновь находим, то, что мы слышим. Вероятно, в того Свана, которого создали себе мои родные, они не вкладывали, по неведению, множества особенностей, касающихся его светской жизни, в то время как другие лица, знавшие его с этой стороны, находясь в его присутствии, видели в лице его воплощение изящества, завершенного линией его носа с горбинкой, как своей естественной границей; но мои родные могли зато наполнять это лишенное своего обаяния, порожнее и просторное лицо, глубину этих обесцененных глаз, бесформенным и сладким осадком – смутное воспоминание, полузабвение, – праздных послеобеденных часов, проведенных вместе за ломберным столом или в саду, во время нашей добрососедской деревенской жизни. Телесная оболочка нашего друга была так плотно напитана всем этим, а также кое-какими воспоминаниями, касавшимися его родителей, что их Сван стал законченным и живым существом, и у меня такое впечатление, будто я покидаю одного человека и обращаюсь к другому, отличному от него, когда в своих воспоминаниях я перехожу от того Свана, с которым впоследствии познакомился очень близко, к этому первому Свану – к этому первому Свану, в котором я вновь нахожу очаровательные заблуждения моей юности и который к тому же похож не столько на другого Свана, сколько на лиц, с которыми я был знаком в то далекое время, как если бы с нашей жизнью дело обстояло так, как с музеем, где все портреты одной и той же эпохи имеют какое-то фамильное сходство, одну и ту же тональность, – к этому первому Свану, исполненному праздности и пахнувшему большим каштановым деревом, малиной в корзинках и чуточку эстрагоном.

Впрочем, однажды бабушка, обратившись с какой-то просьбой к даме, с которой она познакомилась в Сакре-Кер (и с которой, благодаря нашему представлению о кастах, она не захотела поддерживать отношений, несмотря на взаимную симпатию) – маркизе де Вильпаризи из знаменитого рода Буйон, – услышала от нее следующие слова: «Мне кажется, вы хорошо знакомы с господином Сваном, большим другом моих племянников де Лом». Бабушка вернулась в восторге от дома, выходившего окнами в сад, в котором г-жа де Вильпаризи советовала ей нанять квартиру, а также от штопальщика и его дочери, державших на дворе лавочку, куда она зашла зашить юбку, которую разорвала на лестнице. Бабушка нашла этих людей совершенством, она заявила, что малютка очаровательна, а штопальщик изысканнейший из людей, каких она когда-либо встречала. Ибо для нее изысканность была вещью, совершенно независимой от социального положения. Она была в восторге от одного ответа, данного ей штопальщиком, и говорила маме: «Севинье не сказала бы лучше!» – но зато о племяннике г-жи де Вильпаризи, которого она встретила у нее, она отзывалась: «Ах, дочка, как он вульгарен!»

Однако это замечание, касавшееся Свана, имело следствием не возвышение его в глазах моей двоюродной бабушки, но принижение г-жи де Вильпаризи. Казалось, что уважение, с которым мы, полагаясь на бабушку, относились к г-же де Вильпаризи, возлагало на нее обязанность не совершать ничего такого, что роняло бы ее достоинство в наших глазах, обязанность, которой она не выполняла, зная о существовании Свана и позволяя своим родственникам водить с ним знакомство. «Каким образом она знает Свана? Это особа-то, которую ты выдаешь за родственницу маршала де Мак-Магона!» Это представление моих родных о зна-

комствах Свана еще более укрепилось у них впоследствии благодаря его женитьбе на женщине самого сомнительного общественного положения, почти кокотке, которую, впрочем, он никогда не пытался представить нам, продолжая приходить один, правда, все реже и реже; моим родным казалось, что по этой женщине они могут судить – предположивши, что именно оттуда он взял ее, – о незнакомой для них среде, в которой он обыкновенно бывал.

Но однажды дедушка прочел в газете, что г-н Сван был одним из самых верных завсегда-таев на воскресных завтраках герцога де Х., отец и дядя которого были чрезвычайно видными государственными людьми в царствование Луи Филиппа. Между тем дедушка был любопытен по части разных мелких фактов, могущих помочь ему мысленно проникнуть в частную жизнь таких людей, как Моле, как герцог Пакье, как герцог де Брой. Он пришел в восторг, когда узнал, что Сван бывает у людей, которые были знакомы с ними. Моя двоюродная бабушка, напротив, истолковала эту заметку в неблагоприятном для Свана смысле: субъект, выбирающий свои знакомства вне касты, к которой он принадлежит по рождению, вне своего общественного «класса», был в ее глазах каким-то презренным деклассированным существом. Ей казалось, что таким образом человек разом отказывался от плода всех дружественных связей с солидными людьми, связей, которые с таким почетом поддерживали и заводили для своих детей предусмотрительные семьи (двоюродная бабушка перестала даже бывать у сына одного нашего друга-нотариуса на том основании, что тот женился на принцессе и спустился, таким образом, в ее глазах из почтенного положения сына нотариуса до положения авантюриста, чего-то вроде лакея или конюха, которых, говорят, королевы дарили иногда своей благосклонностью). Она подвергла осуждению план дедушки расспросить Свана в ближайший вечер, когда он должен был прийти к нам обедать, об этих открытых нами его друзьях. С другой стороны, обе сестры моей бабушки, старые девы, отличавшиеся благородством, но не блиставшие умом, заявили, что не понимают, какое удовольствие может находить их зять в разговоре на такие вздорные темы. Это были особы возвышенного образа мыслей, которые по этой причине не способны были интересоваться тем, что называется сплетнями, хотя бы даже они имели интерес исторический, то есть, говоря вообще, не способны были интересоваться ничем, что не имело прямого отношения к темам эстетическим или моральным. Отсутствие интереса ко всему, имевшему хотя бы подобие близкого или отдаленного отношения к светской жизни, было у них таково, что их слух, – как бы понимая свою бесполезность на то время, когда разговор за столом принимал суетный или даже просто прозаический характер и эти две старые девы не в состоянии были направить его на дорогие для них темы, – оставлял тогда свои воспринимающие органы в состоянии бездействия, так что они подвергались настоящей атрофии.

Если в таких случаях дедушке нужно было привлечь внимание двух сестер, то ему приходилось прибегать к физическим способам воздействия, применяемым врачами-психиатрами по отношению к некоторым маниакально-рассеянными пациентам: продолжительному постукиванию ножом по стакану или рюмке, сопровождаемому резким окриком и повелительным взглядом, способам жестоким, которыми эти психиатры часто пользуются и при общении с вполне здоровыми людьми, вследствие ли профессиональной привычки, или же потому, что всех людей они считают немного сумасшедшими.

Они проявили больший интерес, когда накануне дня, в который Сван должен был прийти к нам обедать и прислал им лично ящик вина Асти, моя двоюродная бабушка, держа номер «Фигаро», где рядом с названием картины, которая была на выставке Коро, стояли слова: «Из собрания г-на Шарля Свана», сказала нам: «Вы слышали, Сван удостоился внимания «Фигаро»?» – «Но ведь я всегда говорила вам, что у него много вкуса», – заметила бабушка. «Ну, разумеется, ты всегда другого мнения, чем мы», – ответила двоюродная бабушка, которая, зная, что бабушка никогда не бывала одного мнения с нею, и не будучи очень уверена, что всегда встретит у нас поддержку, хотела вырвать у нас огульное осуждение мнений бабушки, против которых пыталась насильно солидаризировать нас с собою. Но мы остались безмолв-

ными. Сестры бабушки выразили намерение поговорить со Сваном по поводу этой заметки «Фигаро», но двоюродная бабушка отсоветовала им это. Каждый раз, как она замечала в других людях хотя бы самое незначительное превосходство над собой, она убеждала себя, что это не положительное качество, а недостаток, и жалела их, чтобы не пришлось им завидовать. «Мне кажется, что вы не доставите ему удовольствия; по крайней мере, что касается меня, то я отлично знаю, что мне было бы очень неприятно видеть мою фамилию полностью напечатанной в газете, и я совсем не была бы польщена, если бы мне сказали об этом». Впрочем, она не особенно усердно убеждала сестер бабушки; ибо из отвращения к вульгарности они доводили до такой тонкости искусство маскировать личный намек под замысловатыми иносказаниями, что часто он проходил незамеченным даже тем, к кому был обращен. Что же касается моей матери, то она думала лишь о том, как бы ей добиться от моего отца согласия поговорить со Сваном не о жене его, но о дочери, которую Сван обожал и ради которой, как говорили, в конце концов решился на эту женитьбу. «Тебе стоит сказать ему одно только слово, спросить его, как она поживает. Ведь это очень жестоко по отношению к нему». Но отец сердился: «Ну, нет! У тебя нелепые мысли. Это было бы смешно».

Единственным из всех нас, для кого приход Свана стал предметом мучительной тревоги, был я. Дело в том, что в те вечера, когда у нас бывали чужие или только г-н Сван, мама не поднималась наверх в мою комнату. Я не обедал за общим столом, после обеда шел в сад, затем в девять часов желал всем покойной ночи и отправлялся спать. Я обедал раньше других и приходил потом посидеть за столом до восьми часов, когда мне было приказано подниматься к себе; драгоценный и хрупкий поцелуй, который мама дарила мне обыкновенно в моей постели в момент, когда я засыпал, мне приходилось в таких случаях переносить из столовой в мою комнату и хранить его все время, пока я раздевался, так, чтобы не растаяла его сладость, так, чтобы не рассеялась и не испарилась его летучая сущность; и как раз в те вечера, когда я испытывал потребность в особенно бережном его получении, приходилось брать его, наспех его похищать публично, не имея даже времени и свободы духа, необходимых для того, чтобы внести в свои действия внимательность маньяков, которые стараются не думать ни о чем постороннем в то время, как закрывают дверь, чтобы можно было, когда болезненные сомнения вновь возвратятся к ним, победоносно противопоставить им воспоминание о моменте, когда дверь была ими закрыта. Мы все были в саду, когда раздались два робких звяканья колокольчика. Мы знали, что это был Сван; тем не менее все переглянулись с вопросительным видом и послали на разведку бабушку. «Обдумайте, как бы поделикатнее поблагодарить его за вино, вы ведь знаете, оно превосходно, и ящик огромный», – посоветовал дедушка свояченицам. «Не вздумайте шушукаться, – сказала двоюродная бабушка. – Как это приятно приходить в дом, где все говорят тихо». – «Ах, это господин Сван. Мы сейчас его спросим, будет ли, по его мнению, завтра хорошая погода», – проговорил отец. Матушка думала, что одно ее слово загладит все несправедливости, которые были причинены Свану в нашей семье после его женитьбы. Она нашла способ отвести его на некоторое время в сторону. Но я последовал за ней; я не мог решиться покинуть ее ни на шаг, будучи полон мыслью, что сейчас мне придется покинуть ее в столовой и что я поднимусь в мою комнату без утешительной надежды на прощальный ее поцелуй в постели. «Расскажите мне, пожалуйста, господин Сван, о вашей дочери, – сказала она ему. – Я уверена, что она уже приобрела вкус к красивым вещам, как и ее папа». Но тут подошел дедушка со словами: «Да идите же посидеть вместе с нами на веранде». Матушке пришлось прервать разговор, но этот вынужденный перерыв был для нее только лишним поводом утвердиться в своих благожелательных намерениях, подобно тому как тирания рифмы является для хороших поэтов поводом нахождения наивысших красот. «Мы еще поговорим о ней, когда останемся наедине, – вполголоса сказала она Свану. – Только мать способна понять вас. Я уверена, что и ее мать разделяет мое мнение». Мы все усадились вокруг железного стола. Мне хотелось не думать о тоскливых часах, которые я проведу в одиночестве сегодня вечером

в своей комнате, не способный уснуть; я старался убедить себя, что они не имеют никакого значения, потому что завтра же утром я позабуду о них, старался сосредоточиться на мыслях о будущем, которые, словно по мосту, должны перевести меня на другую сторону страшной пропасти, разверзавшейся у моих ног. Но ум мой, напряженный моей заботой и сосредоточенный подобно взгляду, который я бросал на мою мать, не давал доступа никакому постороннему впечатлению. Мысли, правда, проникали в него, но так, что оставляли где-то снаружи всякий элемент красоты или даже просто занятости, способный тронуть или развлечь меня. Как больной, благодаря анестезирующему средству, переносит в полном сознании операцию, которую производят над ним, ничего при этом не чувствуя, так и я мог декламировать любимые стихи или наблюдать усилия дедушки заговорить со Сваном о герцоге д'Одифре-Пакье, и первые не заставили бы меня испытывать никакого волнения, а вторые не вызвали бы у меня улыбки. Эти усилия были бесплодны. Едва только дедушка задал Свану вопрос относительно этого оратора, как одна из сестер бабушки, в ушах которой дедушкин вопрос звучал как глубокое, но неуместное молчание, которое вежливость требовала прервать, обратилась к другой сестре: «Представь себе, Флора, я познакомилась с одной молодой учительницей-шведкой, которая сообщила мне необычайно интересные подробности относительно кооперативов в Скандинавских государствах. Нужно будет как-нибудь пригласить ее к обеду». – «Я вполне разделяю твоё мнение, – ответила сестра ее Флора, – но я тоже не теряла даром времени. Я встретила у господина Вентейля очень осведомленного старика, который хорошо знаком с Мобаном и которому Мобан самым подробным образом объяснил, к каким приемам он прибегает, создавая роль. Это ужасно интересно. Это сосед господина Вентейля; я ничего о нем не знала; он очень любезен». – «Не у одного только господина Вентейля есть любезные соседи!» – воскликнула при этом заявлении сестры моя двоюродная бабушка Селина голосом, которому робость придавала силу, а нарочитость сделала неестественным, бросая при этом на Свана то, что она называла «многозначительным взглядом». В это самое время бабушка Флора, понявшая, что эта фраза была благодарностью Селины за вино Асти, также посмотрела на Свана с видом, выражавшим признательность, смешанную с иронией, просто ли для того, чтобы подчеркнуть остроумный прием своей сестры, потому ли, что она завидовала Свану за то, что тот вдохновил ее, или же, наконец, потому, что не могла удержаться от насмешки над ним, считая, что он подвергается неприятному для него допросу. «Мне кажется, что нам удастся пригласить этого господина к обеду, – продолжала Флора. – Когда наводишь его на разговор о Мобане или о г-же Матерна, он часами говорит без умолку». – «Это, должно быть, страшно увлекательно», – вздохнул дедушка, ум которого природа, к несчастью, совершенно позабыла наделить способностью проявлять страстный интерес к шведским кооперативам или к приемам создания Мобаном своих ролей, подобно тому как она позабыла снабдить ум сестер моей бабушки крупинкою соли, без которой трудно найти вкус в рассказах об интимной жизни Моле или графа Парижского. «Вы знаете, – обратился Сван к дедушке, – то, что я собираюсь сказать вам, имеет гораздо больше отношения к заданному вами вопросу, чем кажется на первый взгляд, ибо многие стороны жизни с тех пор не так уж изменились. Перечитывая сегодня утром Сен-Симона, я нашел одно место, которое покажется вам занятым. Оно находится в томе, где герцог рассказывает о своем пребывании в Испании в качестве посла; этот том не из лучших, он содержит в себе просто дневник, но, во всяком случае, дневник, чудесно написанный, что выгодно отличает его от скучнейших газет, которые мы считаем себя обязанными читать ежедневно утром и вечером». – «Я не согласна с вами, бывают дни, когда чтение газет доставляет мне большое удовольствие...» – перебила его бабушка Флора, желая показать, что она прочла записку Свана о Коро в «Фигаро». «Когда они сообщают об интересующих нас вещах или людях!» – поддала бабушка Селина. «Я этого не отрицаю, – отвечал удивленный Сван. – Я лишь ставлю в упрек газетам то, что изо дня в день они привлекают наше внимание к вещам незначительным, тогда как мы читаем всего каких-нибудь три или четыре раза в

жизни книги, в которых содержатся вещи существенные. Раз уж мы лихорадочно разрываем каждое утро бандероль газеты, то следовало бы изменить положение вещей и печатать в газете, ну, не знаю, скажем... «Мысли» Паскаля! – Он произнес это слово тоном иронически-торжественным, чтобы не произвести впечатления педанта. – И напротив, в том с золотым обрезом, который мы раскрываем один раз в десять лет, – прибавил он, свидетельствуя то пренебрежительное отношение к светской жизни, которое напускают на себя некоторые светские люди, – нам следует читать о том, что королева эллинов отправилась в Канн или что принцесса Леонская дала костюмированный бал. Только при этих условиях будет соблюдено правильное соотношение». Но, досадуя на себя за то, что позволил себе, хоть и вскользь, затронуть серьезные темы: «Ну и разговорец мы затеяли, – сказал он иронически, – не знаю, с чего это мы забрались на эти вершины. – И обернувшись к дедушке: – Итак, Сен-Симон рассказывает, как Молеврье имел смелость подать руку его сыновьям. Вы знаете, тот самый Молеврье, о котором герцог говорит: «Никогда я не видел в этой неуклюжей бутылке ничего, кроме дурного настроения, грубости и глупости». – «Неуклюжие они так или нет, но мне известны бутылки, наполненные совсем другим содержимым», – с живостью сказала Флора, считавшая своей обязанностью, в свою очередь, поблагодарить Свана, ибо вино Асти было преподнесено обеим сестрам. Селина расхохоталась. Опешивший Сван продолжал: «Не знаю, было ли это невежество или подвох, пишет Сен-Симон, но только он вздумал подать руку моим детям. Я вовремя заметил и успел помешать». Дедушка уже приходил в восторг по поводу «невежества или подвоха», но м-ль Селина, у которой фамилия Сен-Симон – писатель! – предотвратила полную анестезию слуховых способностей, уже негодовала: «Как? Вы восхищаетесь этим? Хорошенькое дело, нечего сказать! Что же это, однако, может означать? Чем один человек хуже другого? Не все ли равно, герцог он или конюх, раз он обладает умом и сердцем? Прекрасная система воспитания детей была у вашего Сен-Симона, если он возбранял им пожимать руку честного человека. Но ведь это попросту гнусно. И вы решаетесь это цитировать?» Тут дедушка, чувствуя, при такой обструкции, бесплодность дальнейших попыток побудить Свана рассказать истории, которые его бы позабавили, с раздражением обращался вполголоса к маме: «Напомни-ка мне стих, которому ты меня научила и который дает мне такое облегчение в подобные минуты. Ах да: «Бог ненависть внушил нам к доблестям иным!» Ах, как это хорошо!»

Я не спускал глаз с мамы, зная, что мне не разрешат оставаться за столом до конца обеда и что, не желая причинять неудовольствие отцу, мама не позволит мне поцеловать ее несколько раз подряд на глазах у всех, как я делал это в своей комнате. По этой причине я решил заранее подготовиться к этому поцелую, который будет таким кратким и мимолетным, когда буду сидеть в столовой за обеденным столом и почувствую приближение часа прощания; решил сделать из него все, что мог сделать собственными силами: выбрать глазами местечко на щеке, которое я поцелую, и настроиться на соответственный лад с целью иметь возможность, благодаря этому мысленному началу поцелуя, посвятить всю ту минуту, которую согласится уделить мне мама, на ощущение ее щеки у моих губ, подобно художнику, который, будучи ограничен кратковременными сеансами, заранее готовится свою палитру и делает по памяти, на основании прежних эскизов, все то, для чего ему не нужно, строго говоря, присутствие модели. Но вот, еще до звонка к обеду, дедушка совершил бессознательную жестокость, сказав: «У малыша утомленный вид, ему нужно идти спать. К тому же сегодня обед будет поздно». Отец, который не соблюдал так пунктуально, как бабушка и мама, молчаливо заключенного между нами соглашения, поддержал его: «Да, да, ступай-ка спать». Я хотел поцеловать маму, но в этот момент раздался звонок, приглашавший к обеду. «Нет, нет, оставь мать в покое, довольно будет тебе пожелать ей покойной ночи, эти нежности смешны. Ну, ступай же!» И мне пришлось уйти без напутственного поцелуя; пришлось всходить по ступенькам лестницы, как говорит народное выражение, «скрепя сердце», поднимаясь вопреки сердцу, хотевшему вернуться к маме, потому что она не дала ему своим поцелуем позволения следовать со мной. Эта

проклятая лестница, по которой мне всегда было так мучительно подниматься, пахла лаком, и ее запах как бы пропитывал и закреплял особенный вид печали, испытываемой мною каждый вечер, тем самым делая ее, может быть, еще более жестокой для моей чувствительности, потому что в этой обонятельной форме разум мой был бессилен сопротивляться ей. Когда мы спим и жестокая зубная боль воспринимается нами еще в виде молодой девушки, которую мы несколько сот раз подряд пытаемся вытащить из воды, или в виде стиха Мольера, который мы безостановочно повторяем, – какое тогда великое облегчение проснуться и дать возможность нашему разуму освободить мысль о зубной боли от всякого героического или ритмического наряда! Нечто обратное этому облегчению испытывал я, когда тоска подниматься к себе в комнату проникала в меня бесконечно быстрее, почти мгновенно, коварно и внезапно, благодаря вдыханию – гораздо более ядовитому, чем проникновение рассудочного представления, – запаха лака, свойственного этой лестнице. По приходе к себе в комнату мне надо было заткнуть все отверстия, закрыть ставни, собственноручно вырыть для себя могилу, откинув одеяла на своей кровати, облечься в саван в виде ночной рубашки. Но прежде чем похоронить себя в железной кровати – поставленной в моей комнате, потому что летом мне было очень жарко под репсовым пологом большой кровати, – я совершил бунтарское движение, я вздумал прибегнуть к уловке приговоренного. Я написал матери, умоляя ее подняться ко мне по одному важному делу, которое не мог сообщить ей в письме. Но я очень боялся, как бы Франсуаза, кухарка моей тети, которой поручалось смотреть за мной во время моего пребывания в Комбре, не отказалась снести вниз мою записку. Я сильно подозревал, что передача моего поручения матери при гостях покажется ей столь же невозможной, как вручение театральным капельдинером письма актеру, находящемуся на сцене. По отношению к вещам, какие можно делать и каких делать нельзя, у нее был кодекс строгий, обширный, тонкий и нетерпимый, со множеством неуловимых или пустых различий (что сообщало ему характер тех древних законов, которые, наряду с жестокими предписаниями, вроде предписания убивать грудных младенцев, запрещают, с преувеличенной щепетильностью, варить козленка в молоке его матери или употреблять в пищу седалищный нерв животного). Кодекс этот, если судить о нем по внезапному упрямству, с каким она отказывалась исполнять некоторые наши поручения, казалось, предусматривал такую сложность общественных отношений и такие светские тонкости, которых ничто в окружавшем Франсуазу и в ее жизни деревенской служанки не могло ей внушить; приходилось предположить, что в ней было заключено весьма древнее французское прошлое, благородное и плохо понятое, как в тех промышленных городах, где старые здания свидетельствуют о существовании в них некогда придворной жизни и где рабочие химического завода окружены во время производства тончайшими скульптурами, изображающими чудо о святом Теофиле или четырех сыновей Эмона. В настоящем случае статья ее кодекса, в силу которой было маловероятно, чтобы, исключая разве пожара, Франсуаза пошла беспокоить маму в присутствии г-на Свана из-за такой незначительной личности, как я, выражала просто почтение, питаемое ею не только к своим господам – подобно почтению к мертвым, духовенству и королям, – но также и к чужому человеку, которому оказывают гостеприимство; почтение, может быть, и тронувшее бы меня, если бы я прочел о нем в книге, но всегда раздражавшее меня на ее устах благодаря серьезному и умильному тону, каким она выражала его; оно было мне особенно ненавистно в тот вечер, так как священный характер, придаваемый ею обеду, мог иметь своим следствием ее отказ нарушить его церемониал. Но чтобы повысить свои шансы на успех, я не колебался солгать и сказал, что я вовсе не по своему желанию написал маме, но мама, расставаясь со мной, наказала мне не забыть прислать ей ответ относительно одной вещи, которую она просила меня поискать; и она наверное очень рассердится, если ей не будет передана эта записка. Мне кажется, что Франсуаза не поверила мне, ибо, подобно первобытным людям, чувства которых обладали гораздо большей остротой, чем наши, она немедленно различала, по признакам, неуловимым для нас, всю правду, которую мы хотели от нее скрыть;



в продолжение пяти минут она разглядывала конверт, как если бы исследование бумаги и вид почерка способны были пролить ей свет на природу содержимого или научить, какую статью своего кодекса она должна применить. Затем она вышла с покорным видом, который, казалось, обозначал: «Что за несчастье для родителей иметь такое дитя!» Через минуту она возвратилась сказать мне, что еще только кушают мороженое и что буфетчику невозможно в настоящий момент передать письмо на глазах у всех, но что когда будут полоскать рот, то она найдет способ вручить его маме. Тоска моя сразу пропала; теперешнее мгновение было уже не тем, что мгновение предшествующее, когда мне приходилось расстаться с мамой до завтра, потому что моя записочка вскоре, рассердив ее без сомнения (рассердив вдвойне, ибо моя выходка сделает меня смешным в глазах Свана), позволит мне все же незримо и с восхищением проникнуть в ту же комнату, в которой находится она, и шепнет ей обо мне на ухо; потому что эта столовая, запретная и враждебная, где, еще только мгновение тому назад, само мороженое – «гранитное» – и стаканы для полоскания рта, казалось мне, таят в себе наслаждения губительные и смертельно унылые, так как мама вкушала их вдали от меня, – эта столовая открывала для меня свои двери и, подобно налившемуся плоду, разрывающему свою кожуру, собиралась брызнуть, излить в самую глубину моего истомленного сердца внимание мамы, когда она будет читать мои строки. Теперь я не был больше отделен от нее; преграды рушились, сладостная нить соединяла нас. И это было еще не все: мама, без сомнения, придет ко мне!

Мне казалось тогда, что если бы Сван прочел мое письмо и угадал его цель, то очень посмеялся бы над только что испытанными мною мучениями; между тем, напротив, как я узнал об этом позже, тоска, подобная моей, была мукой долгих лет его жизни, и никто, может быть, не способен был бы понять меня так хорошо, как он; тоску эту, которую испытываешь, думая, что любимое существо веселится где-то, где тебя нет, куда ты не можешь пойти, – эту тоску дала ему познать любовь, любовь, для которой она как бы предназначена, которая внесет в нее определенность, придаст ей настоящее ее лицо; в тех же случаях, как это было, например, со мною, когда тоска эта проникает в нас прежде, чем совершила свое появление в нашей жизни любовь, она носится в ожидании любви, неясная и свободная, без определенного устремления, служа сегодня одному чувству, а завтра другому, то сыновней любви, то дружбе с товарищем. И радость, которую я почувствовал, совершая свой первый опыт, когда Франсуаза вернулась сказать мне, что письмо мое будет передано, – Сван тоже изведal ее, эту обманчивую радость, доставляемую нам каким-нибудь другом, каким-нибудь родственником любимой нами женщины, когда, подходя к гостинице или театру, где она находится, направляясь на какой-нибудь бал, вечеринку или премьеру, где он встретится с ней, друг этот замечает, как мы блуждаем у подъезда в тщетном ожидании какого-нибудь случая снестись с нею. Он узнает нас, запросто подходит к нам, спрашивает нас, что мы здесь делаем. И когда мы выдумываем, будто нам нужно сказать его родственнице или знакомой нечто крайне нужное, он уверяет нас, что нет ничего проще, приглашает нас войти в вестибюль и обещает прислать ее к нам через пять минут. Как мы любим его – как в эту минуту я любил Франсуазу, – благожелательного посредника, который, благодаря одному своему словечку, сделал вдруг для нас выносимым, человеческим и почти милым непонятный inferнальный праздник, в недрах которого, нам кажется, враждебные вихри, порочные и сладостные, увлекают далеко от нас, заставляют насмеяться над нами ту, кого мы любим. Если судить по нему, по родственнику, подошедшему к нам и тоже являющемуся одним из посвященных в жестокие таинства, другие приглашенные на праздник не содержат в себе ничего демонического. Эти недоступные и терзающие нас часы, когда она вкушает неведомые нам наслаждения, – вдруг чрез нежданную брешь мы проникаем в них; вдруг одно из мгновений, последовательность которых составляет их, мгновение такое же реальное, как и прочие, даже, может быть, более важное для нас, потому что наша любовница в большей степени участвует в нем, мы представляем себе, мы им обладаем, мы принимаем в нем участие, мы почти что создали его: мгновение, когда ей скажут, что мы здесь, рядом,

в вестибюле. И без сомнения, другие мгновения праздника не должны обладать сущностью, очень отличной от сущности этого мгновения, не должны содержать в себе ничего более сладостного, что давало бы нам основание так мучиться, ибо благожелательный друг сказал нам: «Но ведь она с восторгом спустится к вам! Ей доставит гораздо больше удовольствия поговорить с вами, чем скучать там наверху». Увы! Сван по опыту знал, что добрые намерения третьего лица не властны над женщиной, раздраженной тем, что ее преследует и не дает ей покоя даже на празднике человек, которого она не любит. Часто друг спускается обратно один.

Мама не пришла и, пренебрегая моим самолюбием (весьма чувствительным к тому, чтобы басня о поисках, результат которых она будто бы просила меня сообщить ей, не была разоблачена), велела Франсуазе передать мне: «Ответа нет». Впоследствии мне часто приходилось слышать, как швейцары шикарных гостиниц или лакеи увеселительных заведений передавали эти слова какой-нибудь бедной девушке, которая изумлялась: «Как, он ничего не сказал, но ведь это невозможно! Вы же передали мое письмо. Ну хорошо, я подожду еще». И – подобно тому, как она неизменно уверяет, что ей вовсе не нужен добавочный газовый рожок, который швейцар хочет зажечь для нее, и остается ждать, слыша только, как изредка обмениваются между собой замечаниями о погоде швейцар и лакей и как швейцар, видя приближение назначенного часа, вдруг посылает лакея освежить во льду напиток одного из постояльцев, – отклонив предложение Франсуазы приготовить мне настойку или остаться подле меня, я позволил ей возвратиться в буфетную, лег в постель и закрыл глаза, стараясь не слышать голосов моих родных, пивших кофе в саду. Но через несколько секунд я почувствовал, что, послав маме мою записку и настолько приблизившись к ней – под страхом рассердить ее, – что, казалось, меня уже касается дуновение момента, когда она вновь появится передо мной, я этим отрезал себе возможность заснуть, не увидев ее, и биения моего сердца с каждой минутой становились все более мучительными, так как я только увеличивал свое возбуждение тем, что стал убеждать себя успокоиться и подчиниться своей жестокой судьбе. Вдруг тоска моя пропала, блаженство наполнило меня, как это бывает, когда начинается действие сильного лекарства, унимающего боль: я принял решение оставить все попытки заснуть, не повидавшись с мамой, решил поцеловать ее во что бы то ни стало в тот момент, когда она будет подниматься в свою спальню, хотя бы этот поцелуй стоил мне продолжительной ссоры с нею впоследствии. Покой, наступивший по окончании моих мучений, а также мое ожидание, моя жажда опасности и страх перед нею привели меня в состояние необыкновенно радостного возбуждения. Я бесшумно открыл окно и сел на кровати, почти не двигаясь, из боязни, как бы меня не услышали внизу. На дворе предметы, казалось, тоже застыли в немом внимании, чтобы не тревожить лунного света, который, удваивая и отодвигая каждый из них протянутой перед ним тенью, более плотной и вещественной, чем сам предмет, сделал пейзаж тоньше и в то же время вытянул его подобно развернутому чертежу, сложенному раньше в виде гармоник. То, что ощущало потребность в движении, например листва каштана, шевелилось. Но мелкий ее трепет, охватывавший ее всю целиком и выполненный, вплоть до нежнейших нюансов, с безупречным изяществом, не распространялся на окружающее, не смешивался с ним, оставался ограниченным в пространстве. На фоне этой тишины, которая ничего не поглощала в себя, самые отдаленные шумы, те, вероятно, что исходили из садов, расположенных на другом конце города, воспринимались во всех своих деталях с такой законченностью, что, казалось, этим эффектом дальности они обязаны только своему *pianissimo*<sup>1</sup>, подобно тем мотивам под сурдинку, так хорошо исполняемым оркестром консерватории, которые, несмотря на то что для слушателей не пропадает ни одна их нота, кажутся, однако, доносящимися откуда-то издалека и при восприятии которых все старые абоненты – а также сестры моей бабушки, когда Сван уступал им свои места, –

<sup>1</sup> Пианиссимо (*ит.*).

напрягали слух, как если бы они слышали отдаленное движение марширующей колонны, еще не повернувшей на улицу Тревиз.

Я знал, что поступок, на который я решался, мог повлечь для меня, со стороны моих родителей, самые тяжелые последствия, гораздо более тяжелые, чем мог бы предположить человек посторонний, – последствия, которые, с его точки зрения, могла повлечь за собою только какая-нибудь действительно позорная провинность. Но в системе моего воспитания лестница провинностей была не такова, как в системе воспитания других детей, и меня учили помещать наверху ее (вероятно, потому, что от них меня необходимо было наиболее заботливо оберегать) проступки, которые, как это в настоящее время ясно для меня, мы совершаем, уступая какому-нибудь нервному импульсу. Но в те времена слово это не произносилось передо мной, этот источник не назывался, так как у меня могло бы сложиться мнение, что мне простительно поддаваться такого рода нервным побуждениям или даже, может быть, невозможно им противостоять. Я, однако, легко узнавал эти проступки по предварявшему их тоскливому состоянию и по суровости следовавшего за ними наказания; и я знал, что совершаемая мной провинность была того же рода, что и те, за которые я получал суровую кару, хотя бесконечно более серьезная. Если я выйду навстречу моей матери в момент, когда она будет подниматься в свою спальню, и она увидит, что я встал с постели, чтобы еще раз пожелать ей спокойной ночи в коридоре, меня не оставят больше в доме, меня завтра же отправят в коллеж, в этом я не сомневался. Ну что ж! Если бы даже я должен был выброситься из окна пять минут спустя, это меня бы не остановило. Теперь у меня было одно лишь желание: увидеть маму, сказать ей «спокойной ночи»; я зашел слишком далеко по пути, ведущему к осуществлению этого желания, и не мог бы уже повернуть назад.

Я услышал шаги моих родных, ходивших провожать Свана; и когда колокольчик у калитки известил меня, что он ушел, я прокрался к окну. Мама спрашивала отца, понравилась ли ему лангуста и просил ли Сван положить ему еще раз кофейного и фисташкового мороженого. «Я нашла его неважным, – сказала мать, – я думаю, что в следующий раз нужно будет попробовать другой запах». – «Удивительно, как Сван меняется, – заметила двоюродная бабушка, – он уже старик!» Моя двоюродная бабушка до такой степени привыкла всегда видеть в Сване все одного и того же юношу, что была изумлена, найдя его вдруг старше того возраста, который она продолжала ему давать. Впрочем, все мои родные начинали находить в нем ненормальную, преждевременную, постыдную и заслуженную старость, наблюдающуюся только у холостяков, людей, день которых, не имеющий «завтра», кажется более длинным, чем у других, потому что для них он пуст и с самого утра мгновения прибавляются в нем одно к другому, без последующего разделения их между его детьми. «Я думаю, что у него много хлопот со своей женой, живущей на глазах всего Комбре с неким господином де Шарлюсом. Это притча во языцех». Мать заметила, что у него, однако, вид не столь грустный в последнее время. «И он не так часто делает теперь жест, унаследованный им от своего отца: не протирает глаза и не проводит рукой по лбу. По-моему, он, в сущности, не любит больше эту женщину». – «Понятно, он ее больше не любит, – ответил дедушка. – Я давно уже получил от него письмо на эту тему, с которым постарался не считаться и которое не оставляет никаких сомнений насчет его чувств – по крайней мере, любви – к своей жене. Но Бог с ним! Почему же вы, однако, не поблагодарили его за Асти?» – прибавил дедушка, обращаясь к свояченицам. «Как не поблагодарили? Простите, мне кажется, я сделала это достаточно тонко и деликатно», – ответила бабушка Флора. «Да, ты прекрасно это устроила: я была от тебя в восторге», – сказала бабушка Селина. «Но ведь и ты тоже нашлась очень ловко». – «Да, я очень довольна своей фразой о любезных соседях». – «Как, вы называете это поблагодарить? – воскликнул дедушка. – Я прекрасно слышал ваши замечания, но, убейте меня, мне не пришло в голову, что они относятся к Свану. Можете быть уверены, что он ничего не понял». – «Ну, это неизвестно. Сван не дурак; я уверена, что он оценил их. Не могла же я, в самом деле, назвать ему число бутылок и цену

вина!» Отец и мать остались одни и сидели некоторое время молча; затем отец сказал: «Ну, если хочешь, пойдем спать». – «Если тебе угодно, мой друг, хотя мне ни капельки спать не хочется; не может быть, однако, чтобы причиной этого было невинное кофейное мороженое; но я вижу свет в буфетной, и так как бедная Франсуаза ожидала меня, то я попрошу ее расстегнуть мне платье, пока ты будешь раздеваться». И мама открыла решетчатую дверь из передней на лестницу. Вскоре я услышал, как она поднимается закрыть в своей комнате окно. Я бесшумно проскользнул в коридор; сердце мое билось так сильно, что я с трудом подвигался вперед. Но оно, по крайней мере, билось теперь не от тоски, а от страха и радости. Я увидел внизу на лестнице свет, бросаемый маминой свечой. Потом я увидел ее самое; я устремился к ней. В первое мгновение она посмотрела на меня с удивлением, не понимая, что случилось. Потом лицо ее приняло гневное выражение; она не говорила мне ни слова; и действительно, за гораздо меньшие проступки со мной не разговаривали по несколько дней. Если бы мама промолвила мне хотя бы одно только слово, то это значило бы, что со мной можно говорить, и это, может быть, показалось бы мне еще более ужасным, как знак того, что, по сравнению с серьезностью наказания, которому мне предстоит подвергнуться, молчание и даже ссора сущие пустяки. Слово было бы равносильно спокойствию, с которым отвечают слуге после того, как принято решение его рассчитать; поцелуем, который дают сыну, отправляющемуся под знамена, и в котором ему было бы отказано, если бы речь шла о какой-нибудь двухдневной размолвке с ним. Но тут мама услышала шаги отца, поднимавшегося из туалетной, куда он ходил раздеваться, и, во избежание сцены, которую он устроил бы мне, сказала, задыхаясь от гнева: «Беги прочь скорее, беги, пусть, по крайней мере, отец не увидит, что ты здесь торчишь как сумасшедший!» Но я твердил ей: «Приходи попрощаться со мной», – уstraшенный видом поднимавшегося по стене отблеска свечи отца, но также пользуясь его приближением как средством пошантажировать, в надежде, что мама, испугавшись, как бы отец не застал меня здесь, если она будет упорствовать в своем отказе, согласится сказать мне: «Ступай в свою комнату, я сейчас приду». Но было слишком поздно: отец стоял перед нами. Невольно я пробормотал слова, которых, впрочем, никто не услышал: «Я пропал!»

Этого, однако, не случилось. Отец сплошь и рядом отказывал мне в вещах, на которые мне было дано согласие хартиями более общего характера, октроированными матерью и бабушкой, так как он не считался с «принципами» и пренебрегал «правами человека». По совершенно случайной причине, или даже вовсе без причины, он отменял в последний момент какую-нибудь прогулку, настолько привычную, настолько освященную обычаем, что лишение ее являлось клятвопреступлением, или же, как он сделал это сегодня вечером, задолго до ритуального часа объявляя мне: «Ступай спать, никаких объяснений!» Но именно потому, что отец мой был лишен принципов (в смысле моей бабушки), его, строго говоря, нельзя было назвать человеком нетерпимым. Он бросил на меня изумленный и сердитый взгляд, затем, когда мама взволнованным голосом объяснила ему в нескольких словах, что случилось, сказал ей: «Ну, что же, пойдй с ним; раз ты говорила, что тебе не хочется спать, останься с ним немного в его комнате, мне ничего не нужно». – «Но, друг мой, – робко ответила мать, – хочу я спать или нет, это нисколько не меняет дела, нельзя приучать этого ребенка...» – «Но речь идет не о том, чтобы приучать, – сказал отец, пожимая плечами, – ты же видишь, что он огорчен, у него совсем несчастный вид, у этого малыша, не палачи же мы, в самом деле? Вот так славно будет, если ты окажешься причиной его болезни! Так как у него в комнате две кровати, то вели Франсуазе приготовить тебе большую кровать и проводи эту ночь с ним. Ну, покойной ночи; я не такой нервный, как вы, усну и один».

Отца нельзя было благодарить; он был бы раздражен тем, что он называл сантиментами. Я не решался сделать ни одного движения; он стоял еще перед нами, высокий, в белом ночном халате и с повязкой из фиолетового и розового индийского кашемира (он устраивал себе эту повязку с тех пор, как стал страдать невралгиями) в позе Авраама – на гравюре с фрески

Беноццо Гоццолли, подаренной мне г-ном Сваном, – приказывающего Сарре оторваться от Исаака. Много воды утекло с тех пор. Лестницы и стены, на которой я увидел медленное приближение отблеска свечи, давно уже не существует. Во мне тоже многое погибло из того, что, мне казалось, будет существовать всегда, и возникло много нового, родившего новые горести и новые радости, которых я не мог бы предвидеть тогда, подобно тому как тогдашние горести и радости с трудом поддаются моему пониманию в настоящее время. Давно прошло то время, когда отец мог сказать маме: «Ступай с мальчиком». Возможность таких часов навсегда исключена для меня. Но с недавних пор я стал очень хорошо различать, если настораживаю слух, рыдания, которые я имел силу сдерживать в присутствии отца и которые разразились лишь после того, как я остался наедине с мамой. В действительности они никогда не прекращались; и лишь потому, что жизнь теперь все больше и больше замолкает кругом меня, я снова их слышу, как те монастырские колокола, которые до такой степени бывают заглушены днем уличным шумом, что их совсем не замечаешь, но которые вновь начинают звучать в молчании ночи.

Мама провела эту ночь в моей комнате; после того как мною совершен был проступок такого сорта, что я примирился уже с необходимостью покинуть семью, родители мои соглашались дать мне больше, чем я когда-нибудь добивался от них в награду за самое примерное поведение. Даже сейчас, когда отец удостаивал меня этой милости, она заключала в себе нечто произвольное и незаслуженное, как и все вообще действия отца, определявшиеся скорее случайными соображениями, чем заранее обдуманном планом. Может быть, даже то, что я называл его суровостью, когда он посылал меня спать, меньше заслуживало этого названия, чем суровость моей матери или бабушки, ибо натура его, более отличная в некоторых отношениях от моей, чем натура матери и бабушки, вероятно, мешала ему до сих пор почувствовать, насколько я бывал несчастен каждый вечер, – обстоятельство, отлично известное моей матери и бабушке; но они слишком любили меня, чтобы согласиться избавить меня от страдания; они хотели научить меня властвовать над ним, чтобы уменьшить мою нервную чувствительность и укрепить мою волю. Что же касается моего отца, любовь которого ко мне носила другой характер, то я не знаю, хватило ли бы у него для этого мужества: единственный раз, когда он понял, что я чувствую себя нехорошо, он сказал матери: «Ступай, утешь его». Мама осталась на всю ночь в моей комнате и, как бы не желая испортить ни одним упреком этих часов, столь отличавшихся от того, на что я был вправе надеяться, ответила Франсуазе, когда та, поняв, что происходит нечто необыкновенное: мама сидит подле меня, держит меня за руку и дает мне плакать, не жуя меня, – спросила ее: «Барыня, что это случилось с барчуком, почему он так плачет?» – «Он сам не знает почему, Франсуаза, у него нервы расходились; приготовьте мне поскорее постель и отправляйтесь спать». Таким образом, в первый раз печаль моя рассматривалась не как достойный наказания проступок, но как непроизвольная болезнь, получавшая официальное признание; как расстройство нервов, за которое я не был ответствен; я чувствовал облегчение оттого, что не должен был больше примешивать сомнений к горечи моих слез; я мог плакать безгрешно. Кроме того, я не в малой степени гордился перед Франсуазой крутым поворотом событий, который, через какой-нибудь час после того, как мама отказалась подняться в мою комнату и пренебрежительно велела мне ложиться спать, возвышал меня до достоинства взрослого, сразу сообщал моему горю своего рода зрелость, позволял мне плакать законно. Я должен был, следовательно, чувствовать себя счастливым, – я не был счастлив. Мне казалось, что мама впервые сделала мне уступку, которая должна быть для нее мучительной; что это было ее первое отречение от идеала, созданного ею для меня, и что в первый раз она, столь мужественная, признавала себя побежденной. Мне казалось, что если я только что одержал победу, то это была победа над ней, что моя победа была подобна победе болезни, забот, возраста, что она расслабляла ее волю, насиловала ее разум и что этот вечер, начинавший новую эру, останется в ее жизни как печальная дата. Если бы у меня хватило теперь смелости, я сказал бы маме: «Нет, я не хочу; не ложись здесь». Но мне была известна ее прак-

тическая мудрость, ее реализм, как сказали бы в настоящее время, умерявший в ней пылко-идеалистическую натуру моей бабушки, и я знал, что теперь, когда зло совершено, она предпочтет дать мне насладиться целительным покоем и не станет тревожить отца. Несомненно, прекрасное лицо моей матери сияло еще молодостью в тот вечер, когда она так мягко держала меня за руки и пыталась унять мои слезы; но мне казалось, что как раз этого-то и не должно было быть, что ее гнев был бы для меня менее тягостен, чем эта новая нежность, которой не знало мое детство; мне казалось, что нечестивой и воровской рукой я только что провел в душе ее первую морщину и был причиной появления у нее первого седого волоса. От этой мысли рыдания мои удвоились, и я увидел тогда, что мама, никогда не позволявшая себе расстраиваться со мной, готова вдруг заразиться моими рыданиями и делает усилие, чтобы самой не расплакаться. Почувствовав, что я заметил это, она сказала мне со смехом: «Вот видишь, мое золотце, мой чижик, еще немного, и ты сделаешь твою мамочку такой же глупенькой, как ты сам. Вот что: так как ни тебе, ни твоей маме спать не хочется, то не будем расстраивать друг друга, а лучше займемся чем-нибудь, возьмем какую-нибудь книгу». Но у меня не было в моей комнате книг. «Скажи, твое удовольствие очень будет омрачено, если я уже сейчас покажу тебе книги, которые бабушка хочет подарить тебе в день твоего рождения? Подумай хорошенько: ты не будешь разочарован тем, что у тебя не будет в этот день никакого сюрприза?» Я пришел от этого предложения в восторг, тогда мама отправилась за пакетом книг; сквозь бумагу, в которую они были завернуты, я мог различить только их небольшой формат, но уже и при этом первом беглом и поверхностном осмотре бабушкин подарок затмевал коробку с красками и шелковичных червей, полученных мною в Новый год и прошлый день моего рождения. Пакет содержал следующие книги: «Чертово болото», «Франсуа ле Шампи», «Маленькая Фадетта», «Волынщики». Как я узнал потом, бабушка выбрала для меня сначала стихи Мюссе, томик Руссо и «Индиану»; ибо, считая легкое чтение таким же нездоровым, как конфеты и пирожное, она думала в то же время, что мощное дыхание гения является даже для ума ребенка не более опасным, чем свежий воздух и морской ветер для его тела. Но когда отец мой, узнав, какие книги она собирается подарить мне, заявил, что она совсем сошла с ума, бабушка лично отправилась в Жуи-ле-Виконт к своему книгопродавцу, боясь, как бы я не остался без подарка (был очень жаркий день, и она возвратилась такая измученная, что доктор велел матери не позволять ей больше так утомляться), и заменила упомянутые выше книги четырьмя сельскими романами Жорж Санд. «Милая дочка, – сказала она маме, – я не могла бы решиться подарить нашему мальчику что-нибудь дурно написанное».

В самом деле, она никогда не соглашалась покупать такие вещи, из которых нельзя было бы извлечь пользы для ума, особенно той пользы, которую приносят нам прекрасные вещи, научающие нас находить удовольствие не в материальном благополучии и тщеславии, а в чем-то более высоком. Даже когда ей предстояло сделать кому-нибудь так называемый практический подарок, вроде, например, кресла, сервиза, трости, она выбирала «старинные» вещи, как если бы, оставаясь долго без употребления, они теряли свой утилитарный характер и делались пригодными скорее для повествования о жизни людей минувших эпох, чем для удовлетворения наших житейских потребностей. Ей очень хотелось, чтобы в моей комнате висели фотографии старинных зданий и красивых пейзажей. Но хотя бы изображаемое на них имело эстетическую ценность, она, совершая покупку, находила, что механический способ репродукции, фотография, в очень сильной степени придает вещам пошловатую, утилитарную окраску. Она пускалась на хитрости и пыталась если не вовсе изгнать коммерческую банальность, то, по крайней мере, свести ее к минимуму, заменить ее в большей своей части художественным элементом, ввести в приобретаемую ею репродукцию как бы несколько «слоев» искусства: она осведомлялась у Свана, не писал ли какой-нибудь крупный художник Шартрский собор, Большие фонтаны Сен-Клу, Везувий, и, вместо фотографий этих мест, предпочитала дарить мне фотографии картин: «Шартрский собор» Коро, «Большие фонтаны Сен-Клу» Гюбера Робера,



«Везувий» Тернера, отчего художественная ценность репродукции повышалась. Но хотя фотограф не участвовал здесь в интерпретации шедевра искусства или красот природы и его заменил крупный художник, однако без него дело все же не обходилось при воспроизведении самой этой интерпретации. В своем стремлении по возможности изгнать всякий элемент вульгарности бабушка старалась добиться еще более ощутимых результатов. Она спрашивала у Свана, нет ли гравюр с интересующего ее произведения искусства, предпочитая, когда это было возможно, гравюры старинные и представляющие интерес не только сами по себе, например гравюры, изображающие какой-нибудь шедевр в таком состоянии, в котором мы больше не можем его видеть в настоящее время (подобно гравюре Моргена с «Тайной вечери» Леонардо, сделанной до разрушения картины). Нужно сказать, что результаты этой точки зрения на искусство делать подарки не всегда были очень блестящими. Представление, полученное мною от Венеции на основании рисунка Тициана, фоном которого, по мнению исследователей, является лагуна, было, конечно, гораздо менее соответствующим действительности, чем представление, которое мне дали бы о ней простые фотографии. У нас дома потеряли счет (моя двоюродная бабушка по временам делала попытки составить целый обвинительный акт против бабушки) креслам, преподнесенным ею молодоженам или старым супругам, которые, при первой попытке воспользоваться ими, ломались под тяжестью лиц, делавших эту попытку. Но бабушка сочла бы мелочностью слишком внимательно исследовать прочность деревянной мебели, на которой еще можно было различить цветочек, улыбку, какую-нибудь красивую фантазию прошлого. Даже то, что в этой мебели отвечало какой-нибудь практической потребности, пленяло ее, ибо потребность эта удовлетворялась уже непривычным теперь для нас способом, подобно старинным оборотам речи, в которых мы можем различить метафору, изгладившуюся в нашем современном языке вследствие притупляющего влияния привычки. Но как раз сельские романы Жорж Санд, которые она дарила мне ко дню рождения, были, подобно старинной мебели, полны выражений, вышедших из употребления и снова ставших образными, – выражений, какие можно услышать сейчас только в деревне. И бабушка купила их предпочтительно перед другими книгами, подобно тому как она охотнее наняла бы дом, в котором сохранилась готическая голубятня или вообще что-нибудь из тех старинных вещей, которые оказывают на ум благодетельное влияние, наполняя его тоской по несбыточным путешествиям в прошлое.

Мама села подле моей кровати; она взяла роман «Франсуа ле Шампи», которому красноватый переплет и непонятное заглавие придавали в моих глазах отчетливую физиономию и таинственную притягательность. Я никогда еще не читал настоящих романов. Мне приходилось слышать, что Жорж Санд является типичной романисткой. Уже это одно располагало меня думать, что в «Франсуа ле Шампи» содержится нечто невыразимо пленительное. Приемы повествования, имеющие целью возбудить любопытство у читателя или растрогать его, некоторые обороты речи, вызывающие душевное смятение или навевающие грусть (мало-мальски сведущий читатель узнает в них шаблон, повторяющийся во многих романах), казались мне чем-то произвольным и естественным, – ибо я смотрел на новую книгу не как на вещь, имеющую много себе подобных, но как на единственную личность, в себе самой носящую основание своего бытия, – какой-то волнующей эманацией индивидуальной сущности «Франсуа ле Шампи». Под этими столь повседневными событиями, этими столь шаблонными мыслями, этими столь употребительными словами я чувствовал какую-то своеобразную интонацию и фразировку. Действие началось; оно показалось мне тем более темным, что в те времена, читая книгу, я часто на протяжении целых страниц предавался мечтаниям о совсем посторонних вещах. К этим пробелам в рассказе, обусловленным рассеянностью, прибавлялось еще то, что, читая мне вслух, мама пропускала все любовные сцены. Поэтому странные изменения, происходящие в отношениях между мельничихой и мальчиком и объясняющиеся лишь возникновением и ростом любви между ними, казались мне проникнутыми глубокой тайной, ключом которой, с моей точки зрения, было это незнакомое и такое сладостное имя Шампи, не знаю

почему окрашивавшее носившего его мальчика в принадлежащие ему яркие, багряные и прелестные тона. Если на маму нельзя было положиться в отношении полной передачи текста, зато она была превосходным чтецом, когда находила в книге выражение неподдельного чувства: столько у нее было внимания к тексту, такая простота его толкования, столько красоты и мягкости в произношении. Даже в жизни, когда жалость или восхищение вызывали у нее живые люди, а не произведения искусства, трогательно было видеть, с какой деликатностью она устраняла из своего голоса, из своих жестов, из своих слов всякую примесь веселости, если она могла причинить боль вот этой матери, когда-то потерявшей ребенка, – всякий намек на какой-нибудь праздник или годовщину, если они способны были внушить этому старику мысли о его преклонном возрасте, – всякое упоминание о хозяйственных мелочах, если они показались бы скучными этому молодому ученому. Точно так же, читая прозу Жорж Санд, всегда дышащую той добротой и той моральной щепетильностью, которые она научилась от бабушки считать самым высшим, что есть в жизни, и которые я только значительно позже научил ее не считать также самым высшим, что есть в книгах, и тщательно изгоняя во время чтения из своего голоса всякую мелкость и всякую неестественность, поскольку они могли бы помешать течению мощной волны художественной речи, мама насыщала фразы писательницы всей своей природной нежностью и всей требуемой ими сердечной теплотой, – эти фразы, казалось, написанные для ее голоса и, так сказать, полностью содержащиеся в регистре ее чувствительности. Произнося их, она находила потребный тон, сердечную нотку, которая предваряла их появление и продиктовала их, но на которую слова, составляющие эти фразы, не дают указания; этой ноткой она попутно притупляла присущую глагольным временам грубость, придавала прошедшему несовершенному и прошедшему совершенному мягкость, содержащуюся в доброте, грусть, содержащуюся в нежности; связывала заканчивающуюся фразу с фразой начинающейся, то ускоряя, то замедляя движение слогов, чтобы подчинить его, хотя бы длина этих слогов была различна, некоторому однообразному ритму; насыщала эту столь посредственную прозу своеобразной ровно текущей эмоциональной жизнью.

Мои терзания утихли, я отдался ласке этой ночи, в течение которой подле меня находилась мама. Я знал, что такая ночь не может повториться; что самое заветнейшее из всех моих желаний – чувствовать присутствие подле меня мамы в течение этих печальных ночных часов – находилось в слишком большом противоречии с неумолимыми требованиями жизни и намерениями моих родителей, так что удовлетворение, которое они согласились дать мне в этот вечер, нельзя было рассматривать иначе, как нечто исключительное и необычайное. Завтра мои страдания возобновятся, но мама не останется подле меня. Но когда эти страдания прекращались, я не понимал их больше; к тому же завтрашний вечер был еще далеко; я говорил себе, что у меня будет время подумать, несмотря на то, что это время не могло принести мне никаких новых сил, что дело шло о вещах, не зависевших от моей воли, и что только промежуток времени, отделявший их от меня, делал их для меня менее вероятными.

И вот давно уже, просыпаясь ночью и вспоминая Комбре, я никогда не видел ничего, кроме этого ярко освещенного куска, выделявшегося посередине непроглядной тьмы, подобно тем отрезкам, что яркая вспышка бенгальского огня или электрический прожектор освещают и выделяют на какой-нибудь постройке, все остальные части которой остаются погруженными во мрак: на довольно широком основании маленькая гостиная, столовая, начало темной аллеи, из которой появится г-н Сван, невольный виновник моих страданий, передняя, где я направлялся к первой ступеньке лестницы, по которой мне было так мучительно подниматься и которая одна составляла очень узкое тело этой неправильной пирамиды; а на вершине ее моя спальня с маленьким коридором и стеклянной дверью, через которую приходила мама; словом, всегда видимая в один и тот же час, обособленная от всего, что могло окружать ее, одиноко выделявшаяся в темноте, строго необходимая декорация (вроде тех, которые можно видеть на первой странице старых пьес для представления их в провинции) драмы моего разведения; как если

бы весь Комбре состоял только из двух этажей, соединенных узенькой лестницей, и в нем всегда было семь часов вечера. Конечно, если бы кто спросил меня, я мог бы заверить спрашивающего, что Комбре содержал еще и другие вещи и существовал в другие часы. Но так как то, что я припомнил бы о нем, было бы доставлено мне только памятью, руководимой волею, памятью рассудочной, и так как сведения, которые она дает о прошлом, ничего не сохраняют из реального прошлого, то я никогда не возымел бы желания размышлять об этом остатке Комбре. Все это было в действительности умершим для меня.

Умершим навсегда? Возможно.

Есть много случайного во всем этом, и другая случайность – наша смерть – часто не позволяет нам дожидаться случайного благоволения памяти.

Я нахожу очень разумным кельтское верование, согласно которому души тех, кого мы утратили, пребывают пленницами в каком-нибудь бытии низшего порядка, в животном, в растении, в неодушевленной вещи, действительно утраченными для нас до того момента – для многих вовсе не наступающего, – когда мы вдруг оказываемся подле дерева или вступаем во владение предметом, являющимся их темницей. Тогда они трепещут, призывают нас, и, как только мы их узнали, колдовство разрушено. Освобожденные нами, они победили смерть и возвращаются жить с нами.

Так же точно дело обстоит с нашим прошлым. Потерянный труд пытаться вызвать его, все усилия нашего рассудка оказываются бесплодными. Оно схоронено за пределами его ведения, в области, недостижимой для него, в каком-нибудь материальном предмете (в ощущении, которое вызвал бы у нас этот материальный предмет), где мы никак не предполагали его найти. От случая зависит, встретим ли мы этот предмет перед смертью или же его не встретим.

Много лет уже, как от Комбре для меня не существовало ничего больше, кроме театра драмы моего отхода ко сну, и вот, в один зимний день, когда я пришел домой, мать моя, увидя, что я озяб, предложила мне выпить, против моего обыкновения, чашку чаю. Сначала я отказался, но, не знаю почему, передумал. Мама велела подать мне одно из тех кругленьких и пузатеньких пирожных, называемых «мадлен», формочками для которых как будто служат желобчатые раковины моллюсков из вида морских гребешков. И тотчас же, удрученный унылым днем и перспективой печального завтра, я машинально поднес к своим губам ложечку чаю, в котором намочил кусочек мадлены. Но в то самое мгновение, когда глоток чаю с крошками пирожного коснулся моего нёба, я вздрогнул, пораженный необыкновенностью происходящего во мне. Сладостное ощущение широкой волной разлилось по мне, казалось, без всякой причины. Оно тотчас же наполнило меня равнодушием к превратностям жизни, сделало безобидными ее невзгоды, призрачной ее скоротечность, вроде того как это делает любовь, наполняя меня некоей драгоценной сущностью: или, вернее, сущность эта была не во мне, она была мною. Я перестал чувствовать себя посредственным, случайным, смертным. Откуда могла прийти ко мне эта могучая радость? Я чувствовал, что она была связана со вкусом чая и пирожного, но она безмерно превосходила его, она должна была быть иной природы. Откуда же приходила она? Что она означала? Где схватить ее? Я пью второй глоток, в котором не нахожу ничего больше того, что содержалось в первом, пью третий, приносящий мне немножко меньше, чем второй. Пора остановиться, сила напитка как будто слабеет. Ясно, что истина, которую я ищу, не в нем, но во мне. Он пробудил ее во мне, но ее не знает и может только бесконечно повторять, со все меньшей и меньшей силой, это самое свидетельство, которое я не умею истолковать и которое хочу, по крайней мере, быть в состоянии вновь спросить у него сейчас, вновь найти нетронутым и иметь в своем распоряжении для окончательного его уяснения. Я оставляю чашку и обращаюсь к своему разуму. Он должен найти истину. Но как? Тяжелая неуверенность всякий раз, как разум чувствует себя превзойденным самим собою; когда, совершая поиски, он представляет собой всю совокупность темной области, в которой он должен искать и в которой его багаж не сослужит ему никакой пользы. Искать? Не только:

творить. Он находится перед лицом чего-то такого, чего нет еще и что он один может осуществить, а затем ввести в поле своего зрения.

И я снова начинаю спрашивать себя, какой могла быть природа этого неведомого состояния, приносившего не логическую доказательность, но очевидность блаженства, реальности, перед которой меркла всякая другая очевидность. Я хочу попытаться вновь вызвать его. Я мысленно возвращаюсь к моменту, когда я пил первую ложечку чаю. Я вновь испытываю то же состояние, но оно не приобретает большей ясности. Я требую, чтобы мой разум совершил еще усилие, еще раз вызвал ускользающее ощущение. И чтобы ничто не разрушило порыва, в котором он будет стараться вновь схватить его, я устраняю всякое препятствие, всякую постороннюю мысль, я защищаю мои уши и мое внимание от шумов из соседней комнаты. Но, чувствуя, что разум мой утомляется в бесплодных усилиях, я принуждаю его, напротив, делать как раз то, в чем я ему отказывал, то есть отвлечься, думать о чем-нибудь другом, оправиться перед совершением последней попытки. Затем второй раз я устраиваю пустоту около него и снова ставлю перед ним еще не исчезнувший вкус этого первого глотка, и я чувствую, как во мне что-то трепещет и перемещается, хочет подняться, снимается с якоря на большой глубине; не знаю, что это такое, но оно медленно плывет кверху; я ощущаю сопротивление, и до меня доносится рокот пройденных расстояний.

Несомненно, то, что трепещет так в глубине меня, должно быть образом, зрительным воспоминанием, которое, будучи связано с этим вкусом, пытается следовать за ним до поверхности моего сознания. Но оно бьется слишком далеко, слишком глухо; я едва воспринимаю бледный отблеск, в котором смешивается неуловимый водоворот быстро мелькающих цветов; но я не в силах различить форму, попросить ее, как единственного возможного истолкователя, объяснить мне показание ее неразлучного спутника, вкуса, попросить ее научить меня, о каком частном обстоятельстве, о какой эпохе прошлого идет речь.

Достигнет ли до поверхности моего ясного сознания это воспоминание, это канувшее в прошлое мгновение, которое только что было разбужено, приведено в движение, возмущено в самой глубине моего существа притяжением тождественного мгновения? Не знаю. Теперь я больше ничего не чувствую, оно остановилось, может быть вновь опустилось в глубину; кто знает, вынырнет ли оно когда-нибудь из тьмы, в которую оно погружено? Десять раз мне приходится возобновлять свою попытку, наклоняться над ним. И каждый раз малодушие, отвращающее нас от всякой трудной работы, от всякого значительного начинания, советовало мне оставить попытку, пить свой чай, думая только о своих сегодняшних неприятностях и завтрашних планах, на которых так легко сосредоточить внимание.

И вдруг воспоминание всплыло передо мной. Вкус этот был вкусом кусочка мадлены, которым по воскресным утрам в Комбре (так как по воскресеньям я не выходил из дому до начала мессы) угощала меня тетя Леония, предварительно намочив его в чае или в настойке из липового цвета, когда я приходил в ее комнату поздороваться с нею. Вид маленькой мадлены не вызвал во мне никаких воспоминаний, прежде чем я не отведал ее; может быть, оттого, что с тех пор я часто видел эти пирожные на полках кондитерских, не пробуя их, так что их образ перестал вызывать у меня далекие дни Комбре и ассоциировался с другими, более свежими впечатлениями; или, может быть, оттого, что из этих так давно уже заброшенных воспоминаний ничто больше не оживало у меня, все они распались; формы – в том числе раковинки пирожных, такие ярко-чувственные, в строгих и богомольных складочках, – уничтожились или же, усыпленные, утратили действенную силу, которая позволила бы им проникнуть в сознание. Но когда от давнего прошлого ничего уже не осталось, после смерти живых существ, после разрушения вещей, одни только, более хрупкие, но более живучие, более неведущие, более стойкие, более верные, запахи и вкусы долго еще продолжают, словно души, напоминать о себе, ожидать, надеяться, продолжают, среди развалин всего прочего, нести, не изнемогая под его тяжестью, на своей едва ощутимой капельке, огромное здание воспоминания.

И как только узнал я вкус кусочка размоченной в липовой настойке мадлены, которую угощала меня тетя (хотя я не знал еще, почему это воспоминание делало меня таким счастливым, и принужден был отложить решение этого вопроса на значительно более поздний срок), так тотчас старый серый дом с фасадом на улицу, куда выходили окна ее комнаты, прибавился, подобно театральной декорации, к маленькому флигелю, выходившему окнами в сад и построенному для моих родителей на задах (этот обломок я только и представлял себе до сих пор); а вслед за домом – город с утра до вечера и во всякую погоду, площадь, куда посылали меня перед завтраком, улицы, по которым я ходил, дальние прогулки, которые предпринимались, если погода была хорошая. И как в японской игре, состоящей в том, что в фарфоровую чашку, наполненную водой, спускают маленькие скомканные клочки бумаги, которые, едва только погрузившись в воду, расправляются, приобретают очертания, окрашиваются, обособляются, становятся цветами, домами, плотными и распознаваемыми персонажами, так и теперь все цветы нашего сада и парка г-на Свана, кувшинки Вивоны, обыватели городка и их маленькие домики, церковь и весь Комбре со своими окрестностями, все то, что обладает формой и плотностью, – все это, город и сады, всплыло из моей чашки чаю.

## II

Издали, с расстояния десяти лье, когда мы смотрели на него из окна вагона, приезжая туда на Страстной неделе, Комбре был одной только церковью, сосредоточивавшей в себе весь город, представлявшей его, говорившей о нем и от его лица окрестным далям и, при приближении к нему, собиравшей в кучу вокруг своей высоко вздымающейся темной мантии, среди поля, на ветру, как пастушка своих овец, шерстистые серые спины теснившихся друг подле друга домов, которые остатки средневекового вала опоясывали там и сям безукоризненной окружностью, словно какой-нибудь городок на примитиве. Для жизни в нем Комбре был несколько легален, как и его улицы, дома которых, построенные из черноватого местного камня, с наружными ступеньками и остроконечными кровлями, бросавшими длинные тени перед собой, были достаточно темными, так что едва только начинало вечереть, как уже приходилось поднимать занавески в «залах»; улицы с торжественными именами святых (немалое число которых связывалось с историей первых сеньоров Комбре): улица Сент-Илер, улица Сен-Жак, на которой стоял дом моей тети, улица Сент-Гильдегард, вдоль которой тянулась его ограда, и улица Сент-Эспри, на которую выходила маленькая боковая калитка его сада; эти улицы Комбре существуют в таком отдаленном уголке моей памяти, окрашенном в цвета, столь отличные от цветов, одевающих теперь для меня мир, что поистине все они кажутся мне, вместе с церковью, которая господствовала над ними на площади, еще более нереальными, чем картины волшебного фонаря; и по временам у меня бывает такое чувство, что переход улицы Сент-Илер, наем комнаты на улице Птицы – в старой гостинице Подстреленной Птицы, из подвальных окон которой шел кухонный чад, и до сих пор еще временами поднимающийся во мне такой же горячей и неровной волной, – были бы для меня соприкосновением с потусторонностью более чудесно-сверхъестественным, чем знакомство с Голо или беседа с Женевьевой Брабантской.

Кузина моего дедушки – моя двоюродная бабушка, – у которой мы гостили, была матерью тети Леонии, после смерти своего мужа, дяди Октава, не пожелавшей покидать сначала Комбре, затем свой дом в Комбре, затем свою комнату и, наконец, свою постель; она больше не «спускалась» к нам и вечно лежала в неопределенном состоянии грусти, физической слабости, болезни, во власти навязчивых идей и религиозного ханжества. Занимаемые ею комнаты выходили окнами на улицу Сен-Жак, которая заканчивалась далеко на Большом лугу (называвшемся так в отличие от Маленького луга, зеленевшего посреди города на перекрестке трех улиц) и, однообразная, сероватая, с тремя высокими каменными ступеньками перед каждым почти дверями, казалась похожей на ущелье, высеченное резчиком готических изображений прямо в каменной глыбе, из которой он пожелал изваять ясли или голгофу. Фактически тетя занимала только две смежные комнаты, переходя после завтрака в гостиную, в то время как проветривали ее спальню. Это были те провинциальные комнаты, которые (вроде того как в некоторых местностях целые участки воздуха или моря бывают озарены или напоены благоуханием мириадов микроскопических животных, для нас невидимых) пленяют нас тысячью запахов, выделяемых добродетелями, рассудительностью, привычками, всей сокровенной, невидимой, избыточной и глубоко нравственной жизнью, которою насыщен в них воздух; запахов еще в достаточной степени природных, подернутых сероватой дымкой, как запахи соседней деревни, но уже жилых, человеческих и свойственных закрытым помещениям, – изысканное и искусно приготовленное прозрачное желе из всевозможных фруктов, перекочевавших из сада в шкаф; запахов, меняющихся вместе со сменой времен года, но комнатных и домашних, в которых острый аромат белого желе смягчен духом горячего хлеба; запахов праздных и пунктуальных, как деревенские часы, бесцельно блуждающих и строго упорядоченных, беспечных и предусмотрительных, запахов бельевых, утренних, богомольных, дышащих покоем, прино-

сящим лишь умножение тоскливости, и прозаичностью, являющейся неисчерпаемым кладезем поэзии для того, кто на время погружается в нее, но никогда в ней не жил. Воздух в этих комнатах был насыщен тонким ароматом такой вкусной, такой сочной тишины, что, когда я попадал в них, у меня текли слюнки, особенно в первые, еще холодные утра Пасхальной недели, когда я острее ощущал его вследствие еще недолгого пребывания в Комбре: прежде чем я входил к тете пожелать ей доброго утра, меня заставляли минуточку подождать в первой комнате, куда еще зимнее солнце забиралось нагреваться перед уже разведенным между двумя кирпичными стенками огнем, пропитывавшим всю комнату запахом сажи и вызывавшим представление о большом деревенском очаге или крытом камине в старом замке, подле которых так хочется, чтобы на дворе хлестал дождь, бушевала метель и даже разразился целый потоп, прибавляя к комнатному уюту поэзию зимы; я прохаживался между скамеечкой для коленопреклонений и креслами, обитыми тисненым бархатом, на спинки которых были накинута вязаные салфетки, чтобы не пачкалась обивка; при этом огонь камина истекал, словно паштет, аппетитные запахи, которыми весь был насыщен воздух комнаты и которые уже подверглись брожению и «поднялись» под действием свежести сырого и солнечного утра; огонь слоил их, румянил, морщил, вздувал, изготовляя из них невидимый, но осязаемый необъятный деревенский слоеный пирог, в котором, едва отведав более хрустящих, более тонких, более прославленных, но и более сухих также ароматов буфетного шкафа, комода, обоев с разводами, я всегда с какой-то затаенной жадностью припадал к неопишуемому смолистому, приторному, неотчетливому, фруктовому запаху вытканного цветами стеганого одеяла.

Из соседней комнаты до меня доносился голос тети, которая тихонько разговаривала сама с собой. Она всегда говорила тихо, потому что ей казалось, будто в голове у нее что-то разбилось, болтается там и может сместиться, если она будет говорить слишком громко, но в то же время она никогда долго не оставалась молча, даже будучи одна, так как считала, что разговор оказывает благотворное действие на грудь и что, препятствуя крови застаиваться там, он предотвращает припадки удушья и подавленности, которыми она страдала; кроме того, живя в совершенном бездействии, она придавала необыкновенное значение малейшим своим ощущениям; наделяя их подвижностью, делавшей затруднительным для нее таить их в себе, и за отсутствием собеседника, которому она могла бы их поверять, тетя докладывала о них самой себе в непрерывном монологе, являвшемся единственной формой ее активности. К несчастью, усвоив привычку мыслить вслух, она не всегда обращала внимание на то, нет ли кого в соседней комнате, и я часто слышал, как она говорила себе: «Мне нужно хорошенько запомнить, что я не спала» (ибо она всех уверяла, что совсем лишилась сна, и все мы, в ее присутствии, относились с уважением к этой ее мании, подбирая соответствующие выражения при разговоре с нею: утром Франсуаза приходила не «будить» ее, но «входила» к ней; когда тетя хотела вздремнуть днем, в доме говорили, что она хочет «поразмывать» или «отдохнуть»; когда же ей случалось забыться в разговоре с кем-нибудь и сказать: «Меня разбудило» или «Мне снилось, что», она краснела и поспешно поправлялась).

Через несколько мгновений я входил поцеловать ее; Франсуаза заваривала ей чай; или же, если тетя чувствовала себя возбужденной, она просила сделать ей вместо чая липовую настойку, и тогда мне поручалось отсыпать из аптекарского кулечка в тарелку необходимое количество липового цвета, который нужно было затем заварить в кипятке. Засохшие стебельки переплетались в прихотливом узор, в просветы которого глядели бледные цветочки, как если бы их разместил, расположил в самом живописном порядке искусный художник. Листочки, потеряв или изменив свою форму, имели вид самых несообразных вещей: прозрачного крыла мухи, белой оборотной стороны ярлычка, лепестка розы – и были перемешаны, перепутаны и поломаны, как те крошечные предметы, из которых птицы выют гнезда. Тысяча мелких бесполезных подробностей, – милая расточительность аптекаря, – которые были бы устранены при искусственном приготовлении, доставляли мне, подобно книге, в которой так

приятно бывает встретить фамилию знакомого лица, удовольствие воображать, будто это были цветочки настоящих лип, вроде тех, что я видел на Вокзальном бульваре, измененные, правда, но измененные именно потому, что они не были искусственной имитацией, но теми же самыми липовыми цветочками, только состарившимися. И так как каждый новый признак в них был лишь претерпевшим метаморфозу прежним признаком, то в маленьких серых шариках я узнавал нераспустившиеся бутоны; но в особенности розовый, лунный и мягкий отблеск, выделявший цветочки в хрупкой чаще стебельков, где они были подвешены словно маленькие золотистые розы, – знак, который, подобно блеску, до сих пор указывающему на стене место стершейся фрески, отмечает различие между частями дерева, находившимися «в цвету», и остальными его частями, свидетельствовал мне, что эти самые лепестки, наверное, напояли благоуханием весенние вечера, перед тем как зацвести в аптекарском кулечке. Розовое пламя церковной свечи – это и была их окраска, но полуугасшая и уснувшая, свойственная их теперешней притушенной жизни, являвшейся как бы сумерками цветов. Вскоре тетя могла намочить в кипящем настое, вкус которого, отдававший палым листом и увядшим цветком, так ей нравился, маленькую мадлену и угощала меня кусочком ее, когда пирожное достаточно размокало.

По одну сторону ее кровати стояли большой желтый комод лимонного дерева и стол, служивший одновременно домашней аптечкой и алтарем, где подле статуэтки Богородицы и бутылки Vichy-Célestins<sup>2</sup> лежали молитвенники и рецепты лекарств – все необходимое для того, чтобы, не вставая с постели, следить за церковными службами и соблюдать предписанный врачами режим, для того чтобы не пропускать часа приема пепсина и часа вечерни. По другую сторону кровати было окно, так что ей постоянно видна была улица, и она читала на ней с утра до вечера, чтобы не было скучно, на манер персидских принцев, каждодневную, но незапамятную хронику Комбре, которую обсуждала потом с Франсуазой.

Не успевал я пробыть с тетей пяти минут, как она отсылала меня, боясь, что я ее утомлю. Она подставляла под мои губы свой унылый лоб, бледный и увядший, на который в этот утренний час еще не были начесаны ее накладные волосы и сквозь который, словно шипы тернового венца или зернышки четок, просвечивали кости; тетя при этом говорила мне: «Ну, бедный мой мальчик, ступай приготовься к мессе; и если внизу ты встретишь Франсуаза, скажи ей, чтобы она не очень долго развлекалась с вами и поскорее поднималась ко мне посмотреть, не нужно ли мне чего-нибудь».

Франсуаза, уже много лет служившая у нее и не подозревавшая тогда, что скоро совсем перейдет на службу к нам, действительно немножко пренебрегала тетей в те месяцы, когда мы гостили у наших родственников. В детстве, еще до того как мы стали ездить в Комбре и тетя Леония проводила зиму в Париже у своей матери, я помню время, когда я так мало знал Франсуаза, что в Новый год, перед тем как войти к моей двоюродной бабушке, мама совала мне в руки пятифранковую монету и говорила мне: «Следи внимательно, чтобы не ошибиться. Прежде чем давать, подожди, пока я скажу: «Здравствуй, Франсуаза»; при этом я легонько прикоснусь к твоему плечу». Едва только мы вступали в темную переднюю тетиной квартиры, как тотчас замечали в полумраке, под оборочкой ослепительного, туго накрахмаленного и хрупкого, как если бы он был сделан из леденца, чепчика, концентрические струйки улыбки, уже заранее выражавшей благодарность. Это была Франсуаза, неподвижно стоявшая в рамке маленькой двери в коридор, словно статуя святой в нише. Когда мы немного свыкались с этим полумраком часовни, то различали на лице ее бескорыстную любовь к человечеству и проникнутую умилением почтительность к высшим классам, которую возбуждала в лучших областях ее сердца надежда на получение новогоднего подарка. Мама больно щипала меня за руку и громко говорила: «Здравствуй, Франсуаза». При этом знаке пальцы мои разжимались, и я выпускал монету,

<sup>2</sup> Виши-селестен (фр.).



которую принимала робко протянутая рука. Но с тех пор как мы стали ездить в Комбре, я никого не знал лучше, чем Франсуазу; мы были ее любимцами; она чувствовала к нам, по крайней мере в течение первых лет, наряду с таким же уважением, как и к тете, какую-то особенно живую склонность, потому что с честью принадлежать к числу членов семьи (к невидимым узам, которые завязывает между членами семьи обращение в них одной и той же крови, она относилась с таким же почтением, как греческие трагические поэты) у нас соединялось еще то обаяние, что мы не были ее постоянными господами. Поэтому в день нашего приезда, накануне Пасхи, когда часто дул ледяной ветер, она встречала нас с самой неподдельной радостью, выражая сожаление, что еще не наступила хорошая погода, между тем как мама расспрашивала ее о ее дочери и племянниках, о том, хорошо ли ведет себя ее внук, что собираются с ним делать и будет ли он похож на свою бабушку.

А когда они оставались вдвоем в комнате, мама, зная, что Франсуаза все еще оплакивает своих давно уже умерших родителей, заговаривала с ней о них, с теплым участием осведомляясь о разных мелких подробностях их жизни.

Она догадывалась, что Франсуаза не любит своего зятя и что он портит ей удовольствие, получаемое ею от посещения своей дочери, так как в его присутствии обе женщины не могли разговаривать так свободно, как им хотелось бы. Поэтому, когда Франсуаза отправлялась в гости к дочери в деревню, за несколько лье от Комбре, мама с улыбкой говорила ей: «Не правда ли, Франсуаза, если Жюльену придется отлучиться и вы останетесь с Маргаритой одни весь день, вы будете огорчены, но покоритесь печальной необходимости?» И Франсуаза со смехом отвечала: «Барыня все знает; барыня видит насквозь, как икс-лучи (она произносила *икс* с деланным затруднением и улыбкой, словно подтрунивая над тем, что такая невежественная женщина решается употреблять в разговоре ученые термины), которые приносили сюда для г-жи Октав и которые видят все, что делается в вашем сердце» – и исчезала, смущенная тем, что к ее личной жизни был проявлен такой интерес, а может быть, боясь, чтобы ее не увидели плачущей: мама была первым человеком, доставлявшим ей сладкое волнение чувствовать, что ее скромная жизнь, с ее крестьянскими радостями и горестями, может представлять какой-нибудь интерес, может доставлять удовольствие или огорчение кому-нибудь другому, помимо нее самой. Тетя примирялась с необходимостью до некоторой степени обходиться без Франсуазы во время нашего пребывания в Комбре, зная, как высоко ценила мама услуги этой смысленной и расторопной женщины, которая была одинаково хороша и в пять часов утра у себя в кухне в своем чепчике, чьи ослепительно белые и туго накрахмаленные складки казались фарфоровыми, и в то время, когда наряжалась, чтобы идти в церковь; которая все делала мастерски, работая как лошадь и не обращая внимания на состояние своего здоровья, но делала без шума, производя такое впечатление, точно она ничего не делает; единственная из тетиних служанок, которая, когда мама просила горячей воды или черный кофе, приносила их действительно горячими как кипяток; она принадлежала к числу тех слуг, которые с первого взгляда производят весьма неприятное впечатление на пришедшего в дом постороннего человека, может быть, оттого, что они нисколько не стараются понравиться ему и не проявляют по отношению к нему никакой предупредительности, отлично зная, что они в нем вовсе не нуждаются и что скорее наступит то время, когда его перестанут принимать в доме, чем согласятся отпустить их, – но которыми зато больше всего дорожат хозяева, когда познакомятся с их действительными дарованиями, так что они нисколько не заботятся о внешней приятности и об угодливой речи, обо всем том, что производит такое благоприятное впечатление на посетителя, но часто прикрывает собою полнейшее ничтожество.

Когда Франсуаза, присмотрев за тем, чтобы у моих родителей было все необходимое, в первый раз поднималась вверх дать тете пепсин и спросить у нее, что она будет кушать за завтраком, то редко бывало, чтобы тетя не предложила ей высказать свое мнение или дать объяснения по поводу какого-нибудь важного события.

– Можете себе представить, Франсуаза: г-жа Гупиль больше чем на четверть часа запоздала, отправляясь за своей сестрой; стоит ей немного задержаться в пути, и меня не удивит, если она не успеет к возношению даров.

– Да, в этом не будет ничего удивительного, – отвечала Франсуаза.

– Франсуаза, если бы вы пришли пятью минутами раньше, то увидели бы, как проходила мимо г-жа Эмбер со спаржей в два раза более крупной, чем спаржа тетушки Калло: постарайтесь узнать от ее кухарки, где она достает такую. Ведь в этом году вы подаете нам спаржу под всевозможными соусами, так что могли бы позаботиться достать что-нибудь в этом роде для наших гостей.

– Я бы ничуть не удивилась, если бы узнала, что это спаржа с огорода господина кюре, – говорила Франсуаза.

– Ах, что вы говорите, бедная моя Франсуаза, – отвечала тетя, пожимая плечами, – с огорода кюре! Вы ведь отлично знаете, что ему удастся выращивать только ничего не стоящую жиденькую спаржу. А спаржа, которую несла г-жа Эмбер, была толщиной в руку. Ну, понятно, не в вашу руку, но в мою бедную руку, которая стала еще тоньше за этот год... Франсуаза, вы не слышали этого трезвона, от которого у меня голова трещит?

– Нет, госпожа Октав.

– Ах, бедная девушка, крепкий же у вас череп; вы должны благодарить Бога, что он вам дал такой. Только что Маглон заходила за доктором Пипро. Он вышел вместе с нею, и они отправились по улице Птицы. Наверное, там заболел кто-нибудь из детей.

– Ах, бедняжка, – вздыхала Франсуаза, которая не могла слышать ни о каком несчастье, приключившемся с незнакомыми ей лицами, даже в самой отдаленной части света, без того чтобы не поохать.

– Франсуаза, по ком это звонил только что зауспокойный колокол? Ах, Боже мой, да, конечно же, по г-же Руссо. Подумать только: я чуть было не забыла, что она умерла прошлой ночью. Да, пора уже, чтобы и меня Господь призвал к себе, – не знаю, что приключилось с моей головой после смерти моего бедного Октава. Но я заставляю вас терять понапрасну время, голубка.

– Да нет же, госпожа Октав, мое время вовсе не так драгоценно; за время мы не платим денег Создателю. Пойду только посмотрю, не погасла ли моя плита.

Так Франсуаза и тетя оценивали совместно во время этой утренней беседы первые события дня. Но иногда эти события приобретали такой таинственный и тревожный характер, что тетя не в силах была дожидаться момента, когда Франсуаза поднимется к ней, и в таких случаях оглушительный четырехкратный звон ее колокольчика раздавался по всему дому.

– Но ведь, госпожа Октав, еще не пришло время принимать пепсин, – говорила Франсуаза. – Или вы почувствовали слабость?

– Нет, благодарю вас, Франсуаза, – отвечала ей тетя, – то есть, конечно, да; вы ведь знаете, что теперь редко бывают минуты, когда я не чувствую слабости; когда-нибудь я отправлюсь на тот свет подобно г-же Руссо, прежде чем успею опомниться; но не по этому поводу я звонила. Поверите ли, я только что видела, как вижу сейчас вас, г-жу Гупиль с девочкой, которой я совсем не знаю. Ступайте поскорее, купите на пяточок соли у Камю. Не может быть, чтобы Теодор не знал, кто это такая.

– Но ведь это, наверное, дочка г-на Пюпена, – говорила Франсуаза, предпочитая дать объяснение непосредственно, так как сегодня она уже два раза ходила в лавочку Камю.

– Дочка г-на Пюпена! Что вы говорите, моя бедная Франсуаза! Неужели вы думаете, что я бы не узнала ее?

– Но я думаю совсем не о взрослой дочери, госпожа Октав, я думаю о девочке, которая учится в пансионе в Жуи. Мне кажется, что я уже видела ее сегодня утром.

– Ну, разве что так, – говорила тетя. – Значит, она приехала домой на праздники. Да, конечно! Не стоит и расспрашивать, нужно было ожидать, что она придет домой на праздники. Но в таком случае мы должны скоро увидеть, как г-жа Сазра будет звониться у двери своей сестры, направляясь к ней завтракать. Непременно! Я видела, как проходил мимо мальчик от Галопена с тортом! Вот увидите: торт предназначался для г-жи Гупиль.

– Ну, если у г-жи Гупиль есть гости, госпожа Октав, то, скоро вы увидите, все ее знакомые пойдут к ней завтракать, потому что сейчас совсем не так рано, – следовал ответ Франсуазы, которая, торопясь спуститься в кухню и в свою очередь заняться приготовлением завтрака, была довольна, что тете предстоит такое развлечение.

– О, не раньше полудня! – отвечала тетя покорным тоном, с беспокойством, но украдкой поглядывая на часы, чтобы не выдать, какое живое удовольствие она, отказавшаяся от всех земных радостей, все же находит в том, чтобы узнать, кого пригласила г-жа Гупиль к завтраку, хотя, к несчастью, ей придется ожидать занятого зрелища еще больше часу. – И вдобавок оно будет происходить как раз во время моего завтрака, – прибавила она вполголоса, обращаясь к себе самой. Ее собственный завтрак был для нее достаточным развлечением, так что она вовсе не хотела, чтобы с ним совпало еще и другое развлечение. – Вы, по крайней мере, не забудете подать мне мою яичницу на молоке в одной из мелких тарелок? – Эти тарелки были расписаны картинками, и тетя очень любила за каждой едой читать надпись на поданной ей тарелке. Она надевала очки и разбирала: «Али-Баба и сорок разбойников», «Аладдин, или Чудесная лампа» – и с улыбкой приговаривала: «Прекрасно, прекрасно!»

– Так я могу сходить к Камю... – отваживалась заметить Франсуаза, видя, что тетя не собирается больше посылать ее туда.

– Нет, нет; не стоит; это наверное м-ль Пюпен. Бедная Франсуаза, мне очень жаль, что я заставила вас подняться из-за пустяков.

Но тетя отлично знала, что вовсе не из-за пустяков она вызвала к себе Франсуазу, потому что в Комбре лицо, «которого никто не знал», было таким же невероятным существом, как какое-нибудь мифологическое божество, и в самом деле, жители Комбре не помнили случая, чтобы тщательная и исчерпывающая разведка после каждого такого ошеломляющего появления неизвестного лица на улице Сент-Эспри или городской площади не кончалась неизменно сведением баснословного чудища к размерам лица, «которое знали», либо конкретно, либо отвлеченно, – знали, что оно занимает такое-то общественное положение, знали, что оно находится в такой-то степени родства с какой-нибудь семьей, живущей в городе Комбре. Оно окazyвалось сыном г-жи Сотой, отбывшим воинскую повинность, племянницей аббата Пердро, вышедшей из монастыря, братом кюре, сборщиком податей в Шатодене, только что ушедшим в отставку или приехавшим в Комбре на праздники. Когда местные жители впервые видели их, они бывали взволнованы мыслью, что в Комбре есть люди, «которых они совсем не знали», но это объяснялось просто тем, что они их сразу не узнали. А между тем, еще задолго до их появления, г-жа Сотой и кюре предупреждали, что ожидают «гостей». Вечером, по возвращении с прогулки, я поднимался обыкновенно к тете рассказать ей, кого мы видели; если я имел при этом неосторожность сообщить ей, что около Старого моста мы встретили человека, которого мой дедушка не знал, то она восклицала: «Человек, которого дедушка совсем не знал? Так я тебе и поверила!» Все же она бывала несколько взволнована этим известием и для успокоения приглашала к себе дедушку. «С кем это вы встретились подле Старого моста, дядя? Что это за человек, которого вы совсем не знаете?» – «Ну да, – отвечал дедушка, – это был Проспер, брат садовника г-жи Буйбеф». – «Ах, вот оно что, – говорила тетя, успокоившись, но еще немного покрасневшая; пожимая плечами, она прибавляла с иронической улыбкой: – А он сказал мне, будто вы встретили человека, которого вы совсем не знаете!» И мне приказывали быть в другой раз осторожнее и не волновать больше тетю подобными необдуманными словами. Все живые существа в Комбре, животные и люди, были так хорошо известны всем, что если моей

тете случалось увидеть на улице собаку, «которой она не знала», то она непрестанно думала о ней и посвящала уяснению этого непонятного факта все свое свободное время и все свои логические таланты.

– Это, должно быть, собака г-жи Сазра, – высказывала предположение Франсуаза, без большого убеждения в правильности своих слов, но в целях успокоения тети, чтобы та перестала «ломать себе голову».

– Как будто бы я не знаю собаки г-жи Сазра! – отвечала тетя; критический ум не позволял ей так легко допустить существование какого-нибудь факта.

– Ну, в таком случае это новая собака, которую г-н Галопен привез из Лизье.

– Разве что так?

– Она, по-видимому, очень ласковая, – добавляла Франсуаза, получившая эти сведения от Теодора, – сообразительная, как человек, всегда добродушная, всегда приветливая, всегда вежливая. Редко можно видеть животное, которое уже в таком возрасте было бы так благовоспитанно. Госпожа Октав, я должна покинуть вас; мне некогда развлекаться; уже скоро десять часов, а моя плита еще не затоплена; и мне нужно еще почистить спаржу.

– Как, Франсуаза, опять спаржа! Но вы прямо-таки больны пристрастием к спарже в этом году: вы вызовете отвращение к ней у наших парижан!

– Нет, госпожа Октав, они очень любят спаржу. Когда они возвратятся из церкви, у них будет волчий аппетит, и вы увидите, они скушают ее за мое почтение.

– Да, они уже, должно быть, в церкви; вам нельзя терять понапрасну время. Ступайте готовить ваш завтрак.

В то время как тетя болтала таким образом с Франсуазой, я бывал со своими родными в церкви. Как я любил ее, как ясно я вижу ее и до сих пор, нашу церковь! Ее ветхая паперть, через которую мы входили, черная, взрытая как решето, была деформирована и сильно углублена по сторонам (так же, как и чаша со святой водой, к которой она нас приводила), как если бы легкое прикосновение одежды крестьянок, входящих в церковь, и их робких пальцев, погружаемых в святую воду, могло, благодаря многовековому повторению, приобрести разрушительную силу, могло продавить камень, высечь в нем борозды, вроде тех, что высекаются в каменных столбах у ворот колесами телег, ежедневно задевающими за них. Ее надгробные плиты, под которыми благородный прах похороненных здесь комбрейских аббатов образовывал как бы духовный помост для хора, сами не были больше косной и грубой материей, ибо время размягчило и растопило их, словно мед, так что они потекли за пределы своих четырехугольных очертаний, в одних местах светлой волною переливаясь через края, увлекая с собой какую-нибудь разукрашенную цветами заглавную готическую букву и затопляя белые фиалки мраморного пола; в других же, напротив, втягиваясь внутрь и еще более сокращая эллиптическую латинскую надпись, делая еще более капризным расположение этих укороченных литер, сближая две буквы какого-нибудь слова и в то же время чрезмерно раздвигая остальные. Ее расписные окна никогда так хорошо не играли, как в те дни, когда солнце мало показывалось, так что, если на дворе было пасмурно, вы могли быть уверены, что в церкви хорошая погода. Одно из этих окон сверху донизу было заполнено единственной фигурой, похожей на карточного короля, который жил там, наверху, под каменным балдахином, между небом и землей (и в голубоватом свете падавшего из него косою луча иногда в будни, в полдень, когда в церкви не бывало службы, – в одну из тех редких минут, когда проветренная пустая церковь, ставшая как-то более земной и более пышной, пронизанная солнечными лучами, игравшими на ее богатом убранстве, имела вид почти обитаемой, подобно залу с каменной скульптурой и расписными окнами какого-нибудь особняка в средневековом стиле, – можно было видеть г-жу Сазра, на мгновение преклонявшую колени и клавишную на соседнюю скамейку изящно перевязанную коробку с пирожными, которую она только что купила в кондитерской напротив и несла домой к завтраку); в другом окне гора из розового снега, у подошвы которой разыгрывалось сраже-

ние, казалось, заморозила самые оконные стекла, покоробленные бесформенными бугорками, словно лед на замерзших окнах, но лед, освещенный лучами какой-то нездешней зари (той самой, несомненно, что обагряла запрестольный алтарный образ такими свежими тонами, что они, казалось, скорее были на мгновение положены на него проникшим извне световым лучом, готовым вскоре погаснуть, чем красками, навсегда прикрепленными к камню); и все они были такие древние, что там и сям можно было видеть их серебряную ветхость, сверкавшую сквозь пыль веков и показывавшую блестящую и вконец изношенную основу их нежного стеклянного узора. В числе этих расписных окон было одно, вся площадь которого была разделена на сотню маленьких прямоугольных окошечек, с преобладанием в них голубого цвета, словно колода карт, разложенная в замысловатом пасьянсе, вроде тех, которыми, как предполагают, развлекался король Карл VI; но оттого ли, что на нем играл солнечный луч, оттого ли, что, вслед за движением моего взгляда по витражу, на нем перемещался, то вспыхивая, то вновь погасая, причудливый пожар, – спустя мгновение окно это горело переливчатым блеском распущенного павлиньего хвоста, затем трепетало и волновалось огненным фантастическим ливнем, низвергавшимся с высоты мрачных каменных сводов по влажным стенам, как если бы я сопровождал моих родных, шедших передо мною с молитвенником в руках, в глубину отливавшего радужными цветами сталактитового грота; еще через мгновение маленькие прямоугольные витражи приобретали глубокую прозрачность, несокрушимую прочность сапфиров, уложенных друг подле друга на каком-то огромном наперсном кресте; но за ними, однако, чувствовалась еще более драгоценная, чем все эти сокровища, мимолетная улыбка солнца; ее так же хорошо можно было различить в голубоватой мягкой волне, которою оно омывало каменные стены, как и на уличной мостовой или на соломе рыночной площади; и даже в первые воскресенья после нашего приезда на пасхальные каникулы, когда земля была еще голой и черной, оно утешало меня, расцветивая, как в стародавние весны времен преемников Людовика Святого, ослепительный золотистый ковер церковных окон стеклянными незабудками.

Два гобелена представляли коронование Эсфири (предание пожелало придать Артаксерксу черты одного французского короля и Эсфири – черты одной принцессы Германта, в которую король был влюблен); от времени краски их расплылись, что придало фигурам большую выразительность, большую рельефность, большую яркость: розовая краска на губах Эсфири выступила за их контур, желтая краска ее платья была положена так густо и так обильно, что платье приобрело как бы вещественность и резко выделялось на потускневшем воздушном фоне; а зелень с деревьев, оставшаяся еще яркой в нижних частях вытканного шелком и шерстью панно, но выцветшая сверху, обрисовывала в более бледных тонах, над темными стволами, верхние желтоватые ветви, как бы тронутые загаром и наполовину стершиеся под действием палящих, хотя и косых лучей невидимого солнца. Все это, и в еще большей степени драгоценные предметы, перешедшие в церковь от лиц, которые были для меня почти легендарными (золотой крест работы, как говорили, св. Элуа, принесенный в дар Дагобером, гробница сыновей Людовика Немецкого из порфира с финифтяными украшениями), вследствие чего я вступал в церковь, когда мы направлялись к нашим скамьям, словно в долину, посещаемую феями, где крестьянин с изумлением замечает на скале, на дереве, на болоте осязаемый след их сверхъестественного пребывания, – все это делало для меня церковь чем-то совершенно отличным от остального города: зданием, помещавшимся, если можно так сказать, в пространстве четырех измерений – четвертым измерением являлось для него Время, – зданием, продвигавшим в течение столетий свой корабль, который, от пролета к пролету, от придела к приделу, казалось, побеждал и преодолевал не просто несколько метров площади, но ряд последовательных эпох, и победоносно выходил из них; зданием, прятавшим грубый и суровый XI век в толще церковных стен, из которых он проступал, со своими тяжелыми сводами, закрытыми и замурованными массивными глыбами бутового камня, только подле паперти, где в одной из стен лестница на колокольню пробурала глубокую выемку; но даже и там

он был замаскирован грациозными готическими аркадами, кокетливо жавшимися перед ним, как старшие сестры с приветливыми улыбками становятся перед неотесанным, неуклюжим и плохо одетым младшим братом, чтобы скрыть его от взоров посторонних; зданием, вздымавшимся в небо, над площадью, свою башню, смотревшую на Людовика Святого и, казалось, еще и до сих пор видевшую его; зданием, погружавшимся со своим склепом в тьму меровингской ночи, в которой, ошупью ведя нас под мрачным сводом в мощных нервюрах, словно гигантское крыло каменной летучей мыши, Теодор или сестра его освещали нам свечкой гробницу внушки Зигебера, на крышке которой видна была глубокая яма, – словно след ископаемого, – прорытая, по преданию, «хрустальной лампадой, которая в ночь убийства франкской принцессы сама собой отделилась от золотых цепочек, на которых была подвешена в том месте, где сейчас находится абсида, и погрузилась в камень, мягко подавшийся под нею, причем ни хрусталь не разбился, ни огонь не погас».

Что же сказать об абсиде комбрейской церкви? Она была крайне неуклюжа и лишена художественной красоты и даже религиозного порыва. Так как перекресток, на который она выходила, был расположен на относительно более низком уровне, то снаружи ее громоздкая стена опиралась на фундамент из неотесанного камня с торчащими концами, не заключая в себе ничего специфически церковного; казалось, что окна в ней пробиты чересчур высоко, так что в целом она производила впечатление скорее тюремной стены, чем стены церковной. И действительно, впоследствии, когда я припоминал все славные абсиды, виденные мною, мне никогда бы не пришло в голову сопоставить с ними абсиду комбрейской церкви. Но однажды, с поворота улицы одного провинциального городка, я заметил выходившую на три скрещивавшихся переулках высокую ветхую стену с пробитыми в ней наверху окнами, такую же асимметричную с виду, как и комбрейская абсида. И в тот момент я не спросил себя, как делал это в Шартре или Реймсе, насколько ярко было в ней выражено религиозное чувство, а только невольно воскликнул: «Церковь!»

Церковь! Такая родная и близкая; на улице Сент-Илер, куда выходила ее северная дверь, непосредственно примыкавшая к двум своим соседям: аптеке г-на Рапена и дому г-жи Луазо, так что между ними не оставалось вовсе свободного пространства; простая обывательница Комбре, которая могла бы иметь свой номер на улице, если бы вообще дома на улицах Комбре имели номера, и перед дверью которой, казалось, должен был останавливаться почтальон во время своего утреннего разноса писем, выйдя от г-на Рапена и направляясь к г-же Луазо, – и все же между нею и остальным Комбре проходила грань, которую уму моему никогда не удавалось преодолеть. Напрасно окно г-жи Луазо было уставлено фуксиями, усвоившими дурную привычку всегда раскидывать по всем направлениям свои склоненные книзу ветви, цветы которых, когда они делались достаточно взрослыми, первым долгом торопливо стремились освежить свои фиолетовые полнокровные щеки о темный фасад церкви, – фуксии от этого не становились для меня священными; пусть глаза мои не воспринимали промежутка между цветами и почерневшим камнем, к которому они прислонялись: ум мой сохранял между ними пропасть.

Колокольню Сент-Илер можно было различить и узнать совсем издали: ее незабываемый силуэт обрисовывался на горизонте в то время, когда Комбре еще не был виден; заметив из поезда, мчавшего нас на Пасхальной неделе из Парижа в Комбре, как она скользит по складочкам горизонта, поворачивая во всех направлениях увенчивавшего ее железного петушка, отец говорил нам: «Складывайте скорее вещи, приехали». И на пути одной из самых дальних прогулок, совершавшихся нами в Комбре, было место, где стесненная холмами дорога вдруг выходила на широкую равнину, замкнутую на горизонте изрезанным просеками лесом, над которым возвышался один только острый шпиль колокольни Сент-Илер, такой тоненький, такой розовый, что казался лишь легким штрихом, едва оттиснутым в небе ногтем неизвестного художника, пожелавшего придать этому пейзажу, этому чистому куску природы, малень-

кую черточку искусства, единственный намек на присутствие человека. По мере того как мы приближались и могли различить остатки четырехугольной полуразрушенной башни, которая еще стояла рядом с колокольной, но была значительно ниже ее, я больше всего бывал поражен красноватым и мрачным тоном камня; и туманным осенним утром руина, возвышавшаяся над сизо-лиловыми, цвета грозовой тучи, виноградниками, казалась пурпурной, совсем почти как лоза дикого винограда.

Часто на площади, когда мы возвращались домой, бабушка останавливала меня и предлагала посмотреть на колокольню. Из окон своей башни, проделанных по два, одна пара над другою, с соблюдением той правильной и своеобразной пропорции в расстояниях, которая сообщает красоту и достоинство не только человеческим лицам, она выпускала, выбрасывала через одинаковые промежутки времени стаи воронов, которые в течение нескольких мгновений с карканьем кружились над нею, как если бы старые камни, позволявшие им резвиться и словно не замечавшие их, стали вдруг необитаемыми, стали излучать из себя что-то бесконечно тревожное, поразившее птиц и их спугнувшее. Затем, избороздив во всех направлениях фиолетовый бархат вечернего воздуха, внезапно успокоившиеся птицы возвращались и поглощались башней, из зловещей вновь превратившейся в благожелательную, причем некоторые из них садились там и сям (с виду неподвижные, но хватая, вероятно, пролетающих мимо насекомых) на верхушках остроконечных зубцов, словно чайки, с неподвижностью рыбаков замирающие на гребнях волн. Сама не зная хорошенько почему, бабушка находила в колокольне Сент-Илер то отсутствие вульгарности, претенциозности и мелкости, которое побуждало ее любить и верить в огромную благодетельность их влияния – и природу, когда рука человеческая не умаляла ее, как делал это садовник моей двоюродной бабушки, – и произведения великих художников. И точно, каждая часть церкви, доступная взору наблюдателя, отличала ее от любого другого здания своего рода мыслью, которой она была проникнута; но если мысль эта была разлита по всем ее частям, то в колокольне она как бы достигала самосознания, утверждала некоторое индивидуальное и ответственное за себя бытие. Именно колокольня говорила от лица церкви. Я очень склонен думать, что бабушка смутно находила в комбрейской колокольне то, что было для нее наиболее ценно в мире: естественность и благородство. Будучи несведущей в архитектуре, она говорила: «Дорогие мои, вы можете смеяться надо мной, если вам угодно: она, может быть, не отличается безупречной красотой, но ее причудливое старое лицо мне нравится. Если бы она играла на рояле, то, я уверена, игра ее не была бы *сухая*». И, смотря на нее, следуя глазами за мягкой напряженностью ее очертаний, за пламенной склонностью ее каменных скатов, которые, поднимаясь вверх, сближались, словно руки, сложенные для молитвы, бабушка до такой степени сливалась с устремленностью шпиля, что взгляд ее, казалось, возносился вместе с ним; и в то же время она дружелюбно улыбалась старым изношенным камням, у которых закатное солнце освещало теперь только остроконечные зубцы подле крыши и которые, с момента вступления в эту залитую солнцем зону, смягченные светом, казалось, вздымались вдруг еще выше, улетали куда-то вдаль, словно ноты, взятые фальцетом, на октаву выше.

Колокольня Сент-Илер давала лицо, увенчание и освящение каждому занятию, каждому часу дня, каждому городскому виду. Из моей комнаты я мог различить только ее основание, недавно перекрытое шифером; но когда в жаркое летнее воскресное утро я видел, как эти шиферные плиты пылают словно черное солнце, я говорил себе: «Боже мой! Девять часов! Я должен собираться к поздней мессе, если хочу успеть поздороваться с тетей Леонией» – и я с точностью знал, какова была окраска солнечного света на площади, отчетливо ощущал жару и пыль рынка, ясно представлял полумрак от спущенной шторы в магазине, пахнувшем небеленым холстом, куда мама пойдет, может быть, перед мессой купить какой-нибудь платочек, который с низким поклоном велит показать ей сам хозяин, уже совсем приготовившийся к закрытию и направлявшийся в заднюю комнату надеть свой воскресный сюртук и вымыть паху-

чим мылом руки, которые он имел обыкновение каждые пять минут, даже при самых мрачных обстоятельствах, потирать одна о другую с предприимчивым видом человека удачливого и себе на уме.

Когда после мессы мы заходили на минутку к Теодору сказать ему, чтобы он принес кулич больших размеров, чем обыкновенно, так как мы ожидали к завтраку наших родственников, приехавших из Тиберзи по случаю хорошей погоды, то колокольная, сама испеченная и подрумяненная словно большой кулич, с искрящейся коркой и клейкими капельками солнечного света, вонзала свой острый шпиль в голубое небо. А вечером, когда я возвращался с прогулки и думал о приближавшемся моменте прощания с мамой перед сном, после чего мне уже нельзя будет видеть ее, очертания колокольни были, напротив, такими мягкими на фоне меркнувшего дня, что она казалась подушкой из коричневого бархата, положенной на бледное небо, погруженной в небо, которое подалось под ее давлением, слегка углубилось, чтобы дать ей место, и выступало по ее краям; и крики птиц, кружившихся над нею, казалось, делали еще более ощутимым ее спокойствие, еще выше возносили ее шпиль и сообщали ей нечто такое, чего словами не выразишь.

Даже во время наших прогулок по местам, лежавшим за церковью, откуда ее не было видно, городской пейзаж всегда казался построенным в соотношении с колокольной, которая проглядывала то здесь, то там и была, может быть, еще более волнующей, когда показывалась таким образом без церкви. Конечно, существует множество других колоколен, с виду более красивых, когда смотришь на них с подобных пунктов, и я храню в своей памяти виньетки колоколен, возвышающихся над крышами, которым присущ совсем другой художественный характер, чем перспектива печальных улиц Комбре. Я никогда не забуду двух прелестных домов XVIII века в любопытном нормандском городке недалеко от Бальбека, домов, во многих отношениях дорогих и памятных мне, между которыми, если смотреть на них из красивого сада, уступами спускающегося к реке, взлетает ввысь готический шпиль спрятанной за ними церкви, как бы увенчивающий и завершающий их фасады, но состоящий из вещества столь отличного, столь драгоценного, столь хрупкого, столь розового, столь блестящего, что сразу видна его такая же непричастность к ним, как непричастна пурпурная и зазубренная стрелка веретенообразной и покрытой блестящей эмалью раковины к двум лежащим рядом красивым галькам, между которыми она была найдена на морском берегу. Даже в Париже, в одном из самых невзрачных кварталов, я знаю окно, откуда виден где-то на третьем или даже на четвертом плане, за беспорядочно нагроможденными крышами нескольких улиц, фиолетовый колокол, иногда красноватый, а иногда также в самых тонких «оттисках», какие дает от него атмосфера, черновато-пепельный, являющийся не чем иным, как куполом церкви Сент-Огюстен, и придающий этому парижскому виду характер некоторых римских видов Пиранези. Но так как ни в одну из этих маленьких гравюр, с какой бы любовью я мысленно ни воспроизводил их, память моя не могла вложить чувства, способность к которому давно уже мной утрачена и которое заставляет нас смотреть на предмет не как на зрелище, но верить в него, как в существо, не имеющее себе равных, то ни одна из них не держит в зависимости от себя целого периода моей интимной жизни, как это делает воспоминание о разных видах колокольни в Комбре с улиц, расположенных позади церкви. Видели ли мы ее в пять часов, когда ходили за письмами на почту, на расстоянии нескольких домов от нас, налево, неожиданно вздымавшуюся одинокой вершиной над гребнем крыш, или же, напротив, желая пойти узнать о здоровье г-жи Сазра, следили глазами за этим гребнем, понижавшимся по ту сторону удаленного от нас ее ската, зная, что нужно будет повернуть во вторую улицу за колокольной; либо, отправляясь еще дальше, на вокзал, замечали ее в косом направлении, и она показывала нам в профиль новые грани и поверхности, точно какое-нибудь твердое тело, внезапно застигнутое в одном из неизвестных нам ранее аспектов во время обращения его вокруг своей оси; либо, наконец, с берегов Вивоны, когда абсида, мощно напрягая свои мышцы и приподнятая перспективой, казалось,



искрилась усилием, которое производила колокольня, чтобы швырнуть свой шпиль в самое сердце неба: каждый раз неизменно приходилось возвращаться к колокольне, каждый раз она господствовала над всем, объединяя дома неожиданным остроконечным зубцом, поднятым передо мною словно палец Бога, тело которого могло быть скрыто в массе человеческих тел, и я все же благодаря этому пальцу не смешал бы его с ними. И сейчас еще, если в каком-нибудь большом провинциальном городе или в плохо знакомом мне парижском квартале прохожий, сообщая, как попасть в желательное для меня место, показывает мне вдаль, в качестве опорного пункта, какую-нибудь каланчу или монастырскую колокольню, поднимающую на углу улицы, на которую я должен повернуть, остроконечную верхушку своей священнослужительской шапки, то достаточно моей памяти найти у нее самой смутное сходство с дорогами исчезнувшими очертаниями, – и прохожий, если он вздумает обернуться, чтобы удостовериться, не сбился ли я с пути, может, к удивлению своему, заметить, что я, позабыв о предпринятой прогулке или о поручении, которое мне необходимо было выполнить, целыми часами остаюсь на том же месте, перед колокольней, неподвижный, пытаюсь припомнить, чувствуя, как в самой глубине моего существа площади, залитые водами Леты, постепенно высыхают и на них вновь появляются постройки; и, несомненно, в тот момент, еще более исступленно, чем несколько времени тому назад, когда я просил его показать мне дорогу, я продолжаю искать ее, я поворачиваю за угол... но... все это путешествие я совершаю в моем сердце...

Возвращаясь от мессы, мы часто встречали г-на Леграндена, которого удерживали обыкновенно в Париже его профессиональные занятия (он был инженер), так что, исключая Святки, он мог приезжать к себе домой в Комбре только на время от вечера субботы до утра понедельника. Он был одним из тех людей, которые помимо ученой карьеры, делаемой ими, впрочем, с блестящим успехом, обладают еще совсем иного рода культурой, литературной или художественной; этой культуре не дает никакого применения профессиональная работа по их специальности, но они обнаруживают ее в своем разговоре. Более начитанные, чем многие литераторы (мы не знали в то время, что г-н Легранден имел уже некоторое литературное имя, и были бы крайне изумлены, если бы до нас дошло, что какой-нибудь известный композитор написал музыку на его стихи), одаренные большей «легкостью руки», чем многие художники, они воображают, что жизнь, которую им приходится вести, не является жизнью, соответствующей их способностям, и вносят в свою профессиональную работу либо беззаботность, смешанную с прихотливостью, либо чрезмерно подчеркнутую старательность, презрительную, горькую и добросовестную. Высокий, прекрасно сложенный, с тонким задумчивым лицом и длинными светлыми усами, с разочарованными голубыми глазами, утонченно-вежливый собеседник, какого мы никогда не слыхали, он был в глазах моей семьи, всегда ставившей его в пример, образцом настоящего джентльмена, относящегося к жизни как нельзя более благородно и деликатно. Бабушка упрекала его только в том, что он слишком уж хорошо говорил, почти как книга, и его речь была лишена той естественности, с какой он повязывал широким и небрежным бантом галстуки «лавальер» и носил прямой и короткий, почти как у школьника, пиджак. Она удивлялась также пламенным тирадам, которыми он часто разражался против аристократии, светской жизни и снобизма, «несомненно являющегося тем грехом, что имеет в виду апостол Павел, когда он говорит о грехе, который не получит прощения».

Светское честолюбие было чувством, которое бабушка до такой степени была не способна испытать и даже понять, что ей казалось совершенно нестоящим делом вкладывать столько горячности в его осуждение. Кроме того, она не считала признаком очень хорошего вкуса то, что г-н Легранден, сестра которого была замужем за одним нижненормандским дворянином, жившим невдалеке от Бальбека, так яростно набрасывался на знать и даже ставил в упрек Великой революции, что она не гильотинировала всех ее представителей.

– Здравствуйте, друзья, – говорил он, идя нам навстречу. – Как вы счастливы, что можете жить здесь подолгу; а мне завтра нужно возвращаться в Париж, чтобы снова зарыться в свою

конуру. – О! – продолжал он, с особенной ему свойственной мягко-иронической, разочарованной и рассеянной улыбкой. – Конечно, в моем доме есть куча бесполезных вещей. В нем недостает только необходимого: большого куска неба, как здесь. Старайтесь всегда сохранить кусок неба над вашей жизнью, мальчик, – прибавлял он, обращаясь ко мне. – У вас красивая душа, редкого качества, артистическая натура; не лишайте же ее того, что ей необходимо.

Когда, по нашем возвращении, тетя посылала спросить нас, действительно ли г-жа Гупиль опоздала к мессе, никто из нас не мог ей ответить. Зато мы увеличили ее тревогу, сообщив ей, что в церкви работает художник: снимает копию с витража Жильбера Дурного. Франсуаза, тотчас же посланная к бакалейщику, вернулась, ничего не узнав, благодаря отсутствию Теодора, которому его двойная профессия певчего, принимавшего участие в поддержании церковного благолепия, и приказчика в бакалейной лавке не только позволяла вступать в сношения с представителями всех общественных классов, но и давала энциклопедическую осведомленность.

– Ах! – вздыхала тетя. – Поскорей бы наступил час, когда должна прийти Евлалия. Она единственный человек, который в состоянии сказать мне это.

Евлалия была деятельная и глухая хромоножка, «удалившаяся на покой» после смерти г-жи де ла Бретонери, у которой она служила с самого детства; она сняла комнату рядом с церковью, но дома почти не сидела и вечно находилась в церкви, то на службах, то молясь в одиночестве или помогая Теодору, когда службы не было; остальное время она проводила в посещении больных, вроде тети Леонии, которой она докладывала все происходившее в церкви во время мессы или вечерни. Она не упускала случая увеличить случайными доходами скромную ренту, обеспеченную ей семьей прежних хозяев, и время от времени приводила в порядок белье кюре или другой значительной особы из числа комбрейского духовенства. Сверх черного суконного плаща она носила маленький белый чепчик, почти как монахиня, и какая-то кожная болезнь окрашивала часть ее щек и ее крючковатый нос в ярко-розовые тона бальзамина. Ее посещения были большим развлечением в жизни тети Леонии, не принимавшей больше почти никого, за исключением г-на кюре. Тетя понемногу исключила из списка приглашаемых всех других лиц, так как все они были в ее глазах повинны в том, что принадлежали к одной из двух категорий людей, которых она не могла выносить. Люди первой категории, самые ужасные, от которых она отделалась в первую очередь, представляли собой субъектов, советовавших ей не обращать столько внимания на свое здоровье и исповедовавших – пусть даже чисто отрицательно, выражая ее только в форме неодобрительного молчания или улыбок сомнения, – пагубную доктрину, будто маленькая прогулка в солнечный день и хороший бифштекс с кровью принесут ей больше пользы (это ей-то, которая в течение четырнадцати часов хранила в своем желудке два злосчастных глотка виши!), чем все ее лекарства и ее постель. Другая категория состояла из лиц, делавших вид, будто считают, что тетя больна серьезнее, чем она думает, что она больна так серьезно, как она говорит. В результате лица, которым она после некоторого колебания и настойчивых уговоров Франсуазы позволяла подняться к себе и которые во время своего визита показывали, насколько они были недостойны оказанной им милости, рискуя робко заметить: «Не кажется ли вам, что если бы вы размялись немного в хорошую погоду...» – или же, напротив, в ответ на ее жалобу: «Мне так худо, так худо, это конец, дорогие друзья» – говоря: «Да, это ужасно лишиться здоровья! Но вы еще можете протянуть в таком состоянии», – такие лица, и первой и второй категории, могли быть уверены, что дверь тетиних комнат никогда больше для них не откроется. И если Франсуазу очень забавлял испуганный вид тети, когда со своей кровати она замечала на улице Сент-Эспри кого-нибудь из этих лиц, как будто намеревавшихся зайти к ней, или слышала звонок у своей двери, то еще больше ее смешили, как ловкая выдумка, всегда победоносные хитрости тети, изобретаемые с целью спровадить нежелательного гостя, и вытянутая физиономия такого гостя, вынужденного удалиться, не повидавши тетю: и Франсуаза втайне восхищалась своей барыней, так как

считала, что она стоит неизмеримо выше этих людей, поскольку может не принимать их, если не желает их видеть. В общем, тетя требовала от своих посетителей, чтобы они в одно и то же время и одобряли ее образ жизни, и выражали ей соболезнование по поводу ее страданий, и уверяли ее, что она в конце концов поправится.

Во всех этих отношениях Евлалия была бесподобна. Тетя могла повторять ей двадцать раз в течение минуты: «Пришел конец мне, бедная моя Евлалия», – двадцать раз Евлалия неизменно отвечала ей: «Если знать свою болезнь так, как вы ее знаете, то можно прожить до ста лет, как говорила мне вчера еще г-жа Сазрен». (Одним из самых твердых убеждений Евлалии, которое не в состоянии было поколебать никакое число изобличающих его неправильность показаний, заключалось в том, что настоящей фамилией г-жи Сазра была фамилия Сазрен.)

– Я не прошу у Бога прожить до ста лет, – отвечала тетя, предпочитавшая не назначать точно определенной границы дням своей жизни.

А так как Евлалия умела, кроме того, как никто другой, развлекать тетю, не утомляя ее, то ее посещения, имевшие место регулярно каждое воскресенье – разве только случалось что-нибудь непредвиденное, – были для тети удовольствием, перспектива которого держала ее в состоянии радостного возбуждения, очень скоро, впрочем, сменявшегося состоянием мучительным, как слишком долго не удовлетворяемый голод, стоило только Евлалии немного опоздать. Слишком затягиваясь, это наслаждение ожидать Евлалию обращалось в пытку; тетя то и дело поглядывала на часы, зевала, жаловалась на недомогание. Если звонок Евлалии раздавался перед самым вечером, когда тетя теряла уже всякую надежду, то он почти что делал ее больной. Действительно, по воскресеньям она только и думала, что об этом посещении, и по окончании завтрака Франсуаза с нетерпением ожидала момента, когда мы покинем столовую, чтобы ей можно было подняться наверх и «заняться» тетей. Но (особенно когда в Комбре устанавливалась хорошая погода) проходило много времени с тех пор, как горделивый полу-денный час, нисходивший с колокольни Сент-Илер, которую он украшал на мгновение двенадцатью геральдическими зубцами своей звучащей короны, успевал пробить над нашим столом, возле освященного хлеба, который также запросто приходил к нам из церкви, – а мы все еще сидели перед тарелками со сценами из «Тысячи и одной ночи», отяжелевшие от жары, а еще больше от еды. В самом деле, к неизменной основе из яиц, котлет, картофеля, варенья, бисквитов, о появлении которых на столе Франсуаза даже не объявляла нам больше, она присоединяла – соответственно урожаю на огородах и в фруктовых садах, результатам морского улова, случайностям рынка, любезности соседей и своим собственным талантам, так что наше меню, подобно тем четырехлистникам, которые высекались в XIII веке на порталах соборов, в известной степени отражало чередование времен года и событий человеческой жизни: камбалу, так как торговка поручилась ей за ее свежесть; индейку, так как ей попалась отличная на рынке в Руссенвиль-ле-Пен; испанские артишоки с мозгом, так как она еще не готовила их нам этим способом; жареного барашка, так как прогулка на свежем воздухе возбуждает аппетит и до обеда придется ждать еще целых семь часов – время достаточное, чтобы переварить этого барашка; шпинат – для разнообразия; абрикосы, так как они были еще редкостью, смородину, так как через две недели ее нельзя уже будет достать; малину, так как г-н Сван собственноручно принес ее; вишни, которые в первый раз уродились на вишневом дереве нашего сада после того, как в течение двух лет оно не давало плода; творог со сливками, который я так любил в те времена; миндальное пирожное, так как она заказала его накануне; кулич, так как пришла наша очередь приносить его в церковь. Когда же все это бывало съедено, на стол подавался нарочно для нас приготовленный, но посвященный главным образом моему отцу, большому любителю таких вещей, шоколадный крем, плод творческого вдохновения Франсуазы, воздушный и легкий, как произведение, исполненное для чрезвычайного случая, в которое она вложила весь свой талант. Тот, кто вздумал бы отказаться от него, сказав: «Спасибо, я уже кончил; больше не могу», – сразу был бы низведен до уровня тех варваров, которые, получая

от художника в подарок какое-нибудь его произведение, исследуют его вес и материал, тогда как в нем ценны только замысел и подпись автора. Даже оставить хотя бы самый маленький кусочек на тарелке было бы такой же невежливостью, как встать и уйти из концертного зала до окончания музыкального номера под носом у композитора.

Но вот наконец мама обращалась ко мне: «Милый, не оставайся здесь без конца; поднимись в свою комнату, если ты находишь, что на дворе очень жарко, но пойди сначала подыши воздухом, нельзя садиться за книгу сразу после еды». Я направлялся к насосу с каменным желобом, украшенным там и сям, подобно готической купели, саламандрами, оживлявшими истершийся камень подвижным рельефом своих гибких аллегорических тел, и усаживался подле него на скамейку без спинки, под тенью сиреневого куста, в том уголке сада, откуда был выход через маленькую калитку на улицу Сент-Эспри; на довольно заброшенной его территории возвышалась двумя уступами задняя кухня, соединенная с домом, но казавшаяся с места, где я сидел, самостоятельной постройкой. Ее красные каменные плиты блестели, словно порфирные. Она была похожа не столько на убежище Франсуазы, сколько на маленький храм Венеры, и вся была наполнена приношениями молочника, фруктовщика, торговли овощами, приходившими подчас из довольно отдаленных деревень, чтобы посвятить ей первые плоды своих полей. И конек ее крыши всегда был увенчан воркующим голубем.

В прежние времена я не задерживался в священной роще, окружавшей этот храм, так как, прежде чем подняться к себе наверх и приняться за чтение, забирался в маленькую гостиную, которую занимал в нижнем этаже дядя Адольф – дедушкин брат, старый военный, вышедший в отставку в чине майора, – и которая, даже когда открытые окна давали доступ, если не солнечным лучам, редко заглядывавшим туда, то стоявшей на дворе жары, неиссякаемо источала тот неопределенный, но свежий запах, отдающий одновременно лесом и старомодным образом жизни, что так приятно щекошет ноздри и погружает нас в мечтательность, когда мы входим в какой-нибудь заброшенный охотничий домик. Но уже несколько лет я не заходил больше в комнату дяди Адольфа, так как он перестал приезжать в Комбре вследствие ссоры, происшедшей между ним и моей семьей, по моей вине, при следующих обстоятельствах.

В Париже один или два раза в месяц меня посылали навестить дядю, и я входил к нему обыкновенно, когда он кончал завтракать, одетый в скромную тужурку; за столом ему прислуживал лакей в рабочей блузе из грубого холста в лиловую и белую полоску. Дядя тотчас же начинал с ворчаньем жаловаться, что я редко прихожу к нему, что его совсем забыли; он угощал меня марципанами или мандаринами, затем мы покидали столовую и проходили через комнату, где никто никогда не задерживался, где никогда не зажигали огня, комнату со стенами, украшенными золоченой резьбой, с потолком, расписанным в голубой цвет в подражание цвету неба, и с мебелью, обитой атласом, как у моих бабушки и дедушки, только желтым; располагались мы в следующей комнате, которую дядя называл своим «рабочим» кабинетом; по стенам ее были развешаны гравюры, изображавшие на черном фоне какую-нибудь дебелую розовую богиню, правящую колесницей, стоящую на шаре или со звездой на лбу; гравюры эти были в большой моде при Второй империи, так как тогда считалось, что они напоминают помпейскую живопись; потом к ним стали относиться пренебрежительно, а теперь снова начинают ими увлекаться на том единственном основании (какие бы другие основания ни приводились), что они напоминают Вторую империю. И я оставался у дяди до тех пор, пока не приходил к нему камердинер спросить от имени кучера, к какому часу дядя прикажет закладывать лошадей. Дядя погружался тогда в раздумье, которое восхищенный камердинер боялся потревожить малейшим движением, с любопытством ожидая, к какому результату приведет оно. Но результат был всегда один и тот же: после мучительных колебаний дядя неизменно произносил: «В четверть третьего». Камердинер с изумлением, но без возражений повторял: «В четверть третьего? Хорошо... передам ему...»

В те времена я очень любил театр, любил платонически, так как мои родители ни разу еще не позволяли мне пойти туда, и я настолько неверно представлял себе удовольствия, которые там получают, что недалеко был от предположения, будто каждый зритель смотрит на сцену как бы в стереоскоп и видимая им картина существует только для него одного, хотя она и похожа на тысячу других картин, предстоящих глазам каждого из остальных зрителей.

Каждое утро я бегал к столбу с афишами посмотреть, какие спектакли объявлял он. Ничто не могло быть бескорыстнее и счастливее грез, навеваемых моему воображению каждой объявленной пьесой и обусловленных, с одной стороны, ассоциациями, неразрывно связанными со словами, составлявшими название пьесы, а с другой – цветом афиш, еще влажных и сморщенных от клея, на которых это название было напечатано. Если не считать таких странных произведений, как «Завещание Цезаря Жироде» или «Эдип-царь», напечатанных не на зеленых афишах Комической Оперы, но на афишах винного цвета Французской Комедии, то ничто не казалось мне более отличным от пера сверкающей белизны «Бриллиантов короны», чем гладкий таинственный атлас «Черного домино»; так как мои родители сказали мне, что для своего первого посещения театра я должен буду сделать выбор между этими двумя пьесами, то я стремился последовательно углубить их заглавия (ибо заглавия эти были все, что я о них знал), пытаюсь таким образом угадать в каждом удовольствии, которое оно сулило мне, и сравнить его с удовольствием, таившимся в другом заглавии; в заключение я с такой яркостью представлял себе, с одной стороны, ослепительно сверкающую и горделивую пьесу, а с другой – пьесу спокойную и бархатистую, что бывал так же не способен решить, какой из них следует отдать предпочтение, как не способен был бы сделать выбор между предложенными мне на сладкое рисом а *l'Impératrice*<sup>3</sup> и знаменитым шоколадным кремом.

Все мои разговоры с товарищами вращались вокруг актеров, игра которых, хотя она оставалась для меня еще неизвестной, была первой из многочисленных форм Искусства, в которой оно дало мне почувствовать свое очарование. Самые незначительные различия в их манере декламировать какую-нибудь тираду казались мне исполненными неизмеримого значения. И на основании чужих отзывов об актерах я размещал их в порядке их талантливости в списки, которые твердил наизусть с утра до вечера, так что в заключение они как бы окаменели в моем мозгу и стали досаждать мне своей неподвижностью.

Впоследствии, во время пребывания моего в коллеже, заводя на уроках разговор с каким-нибудь новым другом, когда преподаватель не смотрел на меня, я всегда начинал с вопроса, бывал ли уже в театре мой сосед и согласен ли он, что нашим величайшим актером является Го, что за ним следует Делоне и т. д. И если, по его мнению, Февр был ниже Тирона или Делоне ниже Коклена, то внезапная подвижность, которую приобретало в моем мозгу имя Коклена, утратившее каменную твердость, чтобы переключиться там на второе место, а также чудесная живость и необычное одушевление, которым бывало наделено имя Делоне, чтобы отодвинуться на четвертое место, сообщали моему оживленному и оплодотворенному мозгу ощущение зацветания и жизни.

Но если мысль об актерах до такой степени занимала меня, если вид Мобана, выходящего после полудня из Французской Комедии, причинял мне тревогу и терзания безнадежной любви, то насколько же большее смятение вызывали во мне имя какой-нибудь этуали, сверкавшее на дверях театра, или вид женского лица, принадлежавшего, может быть, актрисе, которое я замечал сквозь стеклянную дверцу проезжавшей по улице двухместной кареты, запряженной лошадьми с вплетенными в челки розами! Как бесплодны и мучительны бывали мои усилия представить себе ее частную жизнь! Я размещал в порядке талантливости самых знаменитых: Сару Бернар, Берма, Барте, Мадлену Броан, Жанну Самари, но все они интересовали меня. Между тем дядя был знаком со многими из них, а также с кокотками, которых я недо-

<sup>3</sup> Императрица (фр.).

статочно ясно отличал от актрис. Он принимал их у себя. И если мы посещали дядю только в определенные дни, то это объяснялось тем, что в другие дни к нему приходили женщины, с которыми дядины родственники не могли встречаться – по их мнению, по крайней мере, – так как что касается самого дяди, то он, напротив, проявлял необычайную готовность любезно представлять моей бабушке красивых вдов, которые никогда, может быть, не были замужем, и графинь с громкой фамилией, являвшейся, вероятно, только благозвучным псевдонимом, или даже дарить им фамильные драгоценности, – готовность, которая уже не раз бывала причиной его размолвок с дедушкой. Мне часто приходилось слышать, как отец мой, при упоминании в разговоре фамилии какой-нибудь актрисы, с улыбкой говорил матери: «Приятельница твоего дяди», – и я думал: солидные мужчины, может быть, годами тщетно добиваются чести быть принятыми такой-то женщиной, которая не отвечает на их письма и велит консьержу гнать их вон, – а вот мой дядя мог бы избавить от всех этих мытарств такого мальчишку, как я, представив его у себя в доме актрисе, недоступной для стольких других, но являвшейся его интимным другом.

И вот однажды – под тем предлогом, что один из моих уроков был переставлен очень неудачно и уже несколько раз мешал мне и будет мешать впредь навещать дядю, – выбрав день, не принадлежавший к числу дней, в которые мы делали дяде визиты, я воспользовался тем, что мы позавтракали очень рано, и вышел из дому; но вместо того чтобы отправиться взглянуть на столб с афишами (на эту прогулку меня отпускали одного), я побежал к дяде. Я заметил перед его дверью экипаж, запряженный парой лошадей с шорами, украшенными красной гвоздикой, которая красовалась также в петличке кучера. Еще на лестнице я услышал смех и женский голос, но как только я позвонил, воцарилось молчание, потом раздался шум закрываемых дверей. Открывший мне камердинер, увидя меня, пришел в замешательство и сказал мне, что дядя очень занят и вряд ли примет меня; однако он все же отправился доложить обо мне, и в эту минуту тот же голос, который я слышал с лестницы, проговорил: «Милый, позволь ему войти, на одну только минутку, мне страшно хочется его увидеть. Ведь это его фотография стоит на твоём письменном столе? Рядом с фотографией твоей племянницы, его матери? Он так похож на нее, не правда ли? Я хочу только взглянуть на этого малыша».

Я услышал, как дядя заворчал и что-то сердито ответил; через некоторое время камердинер попросил меня войти.

На столе стояла та же тарелка с марципанами, что и обыкновенно; дядя был в своей неизменной тужурке, но напротив него сидела молодая женщина в розовом шелковом платье с большим жемчужным ожерельем на шее и доедала мандарин. Не зная, как обратиться к ней: «мадам» или «мадемуазель», я покраснел и, не осмеливаясь поднять глаза в ее сторону из боязни, что мне придется заговорить с ней, подошел поздороваться с дядей. Она с улыбкой смотрела на меня, и дядя сказал ей: «Мой племянник», – не называя ни ей моей фамилии, ни мне ее, наверное, потому, что после неприятностей, которые вышли у него с дедушкой, он всячески избегал устраивать встречи между своими родственниками и знакомыми этого рода.

– Как он похож на свою мать, – сказала дама.

– Но ведь вы никогда не видели моей племянницы; по карточке судить недостаточно, – поспешно прервал ее дядя довольно грубым тоном.

– Извините, пожалуйста, дорогой мой, я как-то встретила с ней на лестнице в прошлом году, когда вы были серьезно больны. Правда, я видела ее одно только мгновение, и ваша лестница довольно темная, но этого мгновения для меня было достаточно, чтобы найти ее очаровательной. У этого молодого человека ее прекрасные глаза, а также вот это, – продолжала она, проводя пальцем линию над бровями. – Скажите, ваша уважаемая племянница носит ту же фамилию, что и вы, мой друг? – обратилась она к дяде.

– Он похож больше на отца, – проворчал дядя, которому было так же нежелательно знакомить эту даму заочно с моей матерью, называя ее фамилию, как и сводить их лицом к лицу. – Он вылитый отец и похож еще, пожалуй, на мою бедную матушку.

– Я не знакома с его отцом, – сказала дама в розовом, слегка наклонив голову, – и никогда не была знакома с вашей бедной матушкой. Вы ведь помните, мы познакомились вскоре после постигшего вас горя.

Я испытывал некоторое разочарование: эта молодая дама не отличалась от других красивых женщин, которых я иногда видел в нашем доме; в ней было особенно много сходства с дочерью одного из наших кузенов, к которому я постоянно ходил с новогодним поздравлением. У приятельницы моего дяди были такие же живые и добрые глаза, такой же открытый и доброжелательный взгляд, и только одета она была лучше. Я не находил у нее никаких признаков театральной внешности, так восхищавшей меня на фотографиях актрис, не находил также демонического выражения, соответствовавшего жизни, которую, по моим предположениям, она должна была вести. Я с трудом верил, что это была кокетка, и никак не мог бы подумать, что это была кокетка шикарная, если бы не видел экипажа, запряженного парой, розового платья, жемчужного ожерелья, если бы не знал, что дядя водил знакомство только с птицами самого высокого полета. Я недоумевал, каким образом миллионер, даривший ей экипаж, особняк и драгоценности, мог находить удовольствие в проматывании денег на особу с такой скромной и приличной внешностью. И все же, когда я думал о том, чем должна быть ее жизнь, ее безнравственность волновала меня, может быть, больше, чем если бы она предстала мне в конкретной и наглядной форме – волновала своей невидимостью, как тайна какого-то романа, какого-то скандала, заставившего уйти из тихого родительского дома и сделавшего публичным достоянием, украсившего прелестями, обратившего в героиню полусвета и так прославившего женщину, которую выражение лица, интонации голоса делали похожей на столько других знакомых мне женщин и, вопреки моей воле, побуждали меня рассматривать как молодую девушку из хорошей семьи, в то время как она не принадлежала больше ни к какой семье.

Тем временем мы перешли в «рабочий кабинет», и дядя, в некотором замешательстве от моего присутствия, предложил ей папиросу.

– Нет, благодарю вас, дорогой, – сказала она, – вы знаете, я ведь привыкла к папиросам, которые присылает мне великий князь. Я ему сказала, что они возбуждают в вас ревность. – И она вынула из портсигара несколько папирос с надписями золотыми буквами на иностранном языке. – Ну конечно же, – воскликнула она вдруг, – я встречалась у вас с отцом этого молодого человека! Ведь он ваш племянник? Как могла я забыть? Он был так мил, так изысканно вежлив со мной, – продолжала она скромно и трогательно.

Но, представив себе, насколько грубым мог быть изысканно-вежливый, по ее словам, прием, оказанный ей моим отцом, – ибо мне хорошо были известны его холодность и сдержанность, – я ощутил неловкость от этого несоответствия между чрезмерной признательностью, выраженной ему, и его недостаточной любезностью. Впоследствии я пришел к убеждению, что одна из трогательных сторон роли этих праздных и прилежных женщин заключается в том, что они посвящают свои щедроты, свой талант, свои неосуществленные сентиментальные мечты о красоте, – ибо, подобно всем художникам, они их не воплощают, не вводят в рамки повседневного существования, – и легко достающееся им золото на украшение драгоценной и изящной оправой грубой и плохо отшлифованной жизни мужчин. Подобно тому как она наполняла курительную комнату, где дядя принимал ее в заношенной тужурке, очарованием своего прелестного тела, своего розового шелкового платья, своего жемчуга, элегантною, сообщаемой дружескими отношениями с великим князем, так же точно эта женщина поступила с каким-нибудь незначительным замечанием моего отца: она деликатно отшлифовала его, смягчила, дала ему утонченное название, вставила в него драгоценный взгляд своих глаз, этих бриллиантов чистейшей воды, светившихся уничтожением и благодарностью; она обратила таким обра-

зом само это замечание в драгоценность, в художественное произведение, в нечто «во всех отношениях безукоризненное».

– Послушай, мой милый, тебе пора уходить, – сказал мне дядя.

Я встал; мной овладело непреодолимое желание поцеловать руку дамы в розовом, но мне казалось, что совершение этого поступка потребует такой же смелости, как насильственное ее похищение. Сердце мое сильно билось, и я обращался к себе с вопросом: «Нужно ли мне делать это или не нужно?» – затем я перестал спрашивать себя, что нужно делать, чтобы быть в состоянии сделать вообще что-нибудь. Слепым и безрассудным движением, отбросив прочь все доводы, которые я только что приводил в его пользу, я поднес к губам протянутую мне руку.

– Как он мил! Он уже умеет быть галантным, умеет ухаживать за женщинами: пошел в дядю. Из него выйдет безукоризненный джентльмен, – прибавила она, сжимая зубы, чтобы заставить фразу звучать чуть-чуть по-английски. – Разве не мог бы он прийти как-нибудь ко мне на а *cup of tea*<sup>4</sup>, как говорят наши соседи-англичане. Ему стоит только послать мне утром *un bleu*<sup>5</sup>.

Я не имел никакого представления о том, что такое *un bleu*. Я не понимал половины того, что говорила эта дама, но боязнь, не заключают ли ее слова какого-нибудь вопроса, на который было бы невежливо не ответить, препятствовала мне перестать внимательно их слушать, и я чувствовал от этого большое утомление.

– Ну нет, это невозможно, – сказал дядя, пожимая плечами, – он очень занят, много работает. Он примерный ученик и постоянно приносит награды из своего коллежа, – прибавил он вполголоса, чтобы я не услышал этой лжи и не стал возражать ему. – Кто знает, из него выйдет, может быть, маленький Виктор Гюго, что-нибудь вроде Волабеля, да, да!

– Я обожаю писателей и художников, – отвечала дама в розовом, – никто так не понимает женщин, как они... Они и такие утонченные люди, как вы. Простите мне мое невежество, друг. Кто такой Волабель? Это из тех томиков с золотым обрезом, что стоят в маленьком библиотечном шкафу под стеклом в вашей спальне? Помните, вы обещали дать мне их почитать; я буду обращаться с ними очень бережно.

Дядя, который терпеть не мог давать свои книги, ничего не ответил и проводил меня в переднюю. Воспылав страстной любовью к даме в розовом, я покрыл горячими поцелуями пропахнувшие табаком щеки старика дяди, и, в то время как он в изрядном замешательстве давал мне понять, не решаясь сказать этого открыто, что он предпочитал бы, чтобы я не рассказывал об этом визите моим родителям, я со слезами на глазах уверял его, что его доброта страшно тронула меня и я непременно найду какой-нибудь способ засвидетельствовать ему свою признательность. Доброта эта действительно настолько тронула меня, что два часа спустя, после нескольких загадочных фраз, показавшихся мне, однако, недостаточно красноречивыми для того, чтобы сообщить моим родителям отчетливое представление о новом значении, приобретенном мною, я решил, что проще будет рассказать им в самых мельчайших подробностях о только что сделанном мною визите. Поступая так, я не думал, что причиню какую-нибудь неприятность дяде. Как это могло прийти мне в голову, если я не желал причинять ему неприятностей? И я не мог предположить, что мои родители найдут что-нибудь дурное в поступке, в котором сам я ничего дурного не находил. Разве не случается сплошь и рядом, что какой-нибудь наш друг просит нас не забыть извиниться перед женщиной, которой ему что-то помешало написать, и мы не исполняем его просьбы, считая, что эта особа не может придать большого значения молчанию, не имеющему никакого значения в наших глазах? Я воображал себе, как всякий из нас, что мозг других людей является косным и послушным приемником, не способным отвечать специфическими реакциями на то, что мы вводим в него; и я не сомне-

---

<sup>4</sup> Чашку чаю (*англ.*).

<sup>5</sup> Голубой листок (*фр.*).



вался, что, вкладывая в мозг моих родителей сообщение о моей встрече с дамой у дяди, я одновременно передаю им, как я этого желал, благожелательное суждение, составившееся у меня самого по поводу нового знакомства. К несчастью, родные мои, пожелавши подвергнуть оценке поведение дяди, обратились к принципам, совсем отличным от тех, что я им внушал принять. Отец и дедушка имели очень бурное объяснение с дядей, как я об этом узнал косвенным образом. Спустя несколько дней, встретившись на улице с дядей, проезжавшим в открытом экипаже, я почувствовал боль, признательность, угрызения совести, которые мне очень хотелось ему выразить. Чувства эти были так огромны, что простой шапочный поклон показался мне неуместным и слишком незначительным, способным внушить дяде предположение, будто я считаю возможным расквитаться с ним самой банальной формой вежливости. Я решил удержаться от такого недостаточного жеста и отвернулся в сторону. Дядя подумал, что я это сделал по приказанию родных, – он не простил им этого; и, хотя он умер лишь через несколько лет, никто из нас никогда больше с ним не виделся.

Вот почему я не входил больше в запертую теперь комнату дяди Адольфа; вместо этого, постояв немного около задней кухни, в то время как Франсуаза, появившись на пороге, говорила мне: «Я прикажу судомойке сервировать кофе и подать горячую воду, а мне самой пора провести г-жу Октав», – я решал возвратиться домой, поднимался прямо наверх к себе в комнату и принимался за чтение. Судомойка была лицом отвлеченным, своего рода постоянным учреждением, которому неизменность функций сообщала как бы непрерывность и тождество, несмотря на вечную смену преходящих форм, в которых этот персонаж воплощался: в самом деле, мы никогда не находили на этой должности одну и ту же девушку в течение двух лет подряд. В год, когда мы поедали такое количество спаржи, судомойка, которой обыкновенно поручалось чистить ее, была бедным болезненным созданием. Когда мы приехали на Пасхе, она находилась уже в довольно поздней стадии беременности; и было даже удивительно, что Франсуаза заставляет ее столько бегать и взваливает на нее столько работы: ведь она начинала с трудом носить перед собою таинственную корзину, с каждым днем все более наполнявшуюся и обозначавшую великолепные свои формы под складками ее широких передников. Передники эти напоминали плащи, облегающие некоторые аллегорические фигуры Джотто. Я знал их по фотографиям, подаренным мне г-ном Сваном. Он сам обратил наше внимание на это сходство и, спрашивая нас о судомойке, говорил: «Как поживает «Милосердие» Джотто?» Впрочем, бедная девушка, раздутая беременностью, вплоть до угловатого, квадратного лица, вплоть до прямых щек, действительно была очень похожа на сильных и мужеподобных дев, скорее матрон, в которых олицетворены добродетели в капелле Арена. В настоящее время для меня ясно также, что эти падуанские Добродетели и Пороки имели сходство с нею еще и в другом отношении. Подобно тому как фигура этой девушки была усложнена добавочным символом, который она носила перед своим животом, как бы вовсе не понимая его смысла, ибо ни одна черта ее лица ни в малейшей степени не выражала его красоты и его идеи, носила как обыкновенный тяжелый груз, – так и дородная хозяйка, изображенная в Арене под надписью *Caritas*<sup>6</sup>, репродукция которой висела на стене моей классной комнаты в Комбре, казалось, нисколько не подозревала о том, что она является воплощением этой добродетели, ибо ни малейший намек на милосердие, казалось, никогда не мог быть выражен ее энергичным и грубоватым лицом. Тонкая изобретательность художника заставила ее попирать ногами земные сокровища, но совершенно так же, как если бы она топтала виноград, чтобы выдавить из него сок, или, еще лучше, как она взобралась бы на мешки, чтобы стать выше; и она протягивает Богу свое пылающее сердце, скажем лучше, «передает» его ему, как кухарка передает какой-нибудь пробочник через окошечко своего подвала лицу, которое спрашивает его у нее из окна нижнего этажа. Казалось бы также, что Зависть должна иметь на своем лице некоторое выражение зависти. Но и в этой

<sup>6</sup> Милосердие (лат.).

фреске символ занимает столько места и изображен так реально, змея, шипящая в губах Зависти, так велика, она до такой степени заполняет ее широко раскрытый рот, что для удержания ее напряжены все мускулы лица Зависти, как мы наблюдаем это у ребенка, надувающего своим дыханием резиновый шар; вследствие этого внимание Зависти, – а также и наше, – всецело сосредоточено на работе ее губ, которая не дает времени для завистливых мыслей.

Несмотря на все восхищение г-на Свана фигурами Джотто, я долгое время не испытывал никакого удовольствия при рассматривании в нашей классной комнате (где были развешаны привезенные им копии) этого «Милосердия» без милосердия, этой «Зависти», производившей впечатление гравюры из медицинской книги, иллюстрирующей сжатие гортани или нёбного язычка вследствие опухоли языка или введения в рот инструмента оператора, этой «Справедливости», серенькое лицо которой с мелкими и правильными чертами было так типично для многих красивых горожанок Комбре, набожных и суховатых, которых я видел в церкви во время мессы и многие из которых давно уже были завербованы во вспомогательные отряды Несправедливости. Но впоследствии я понял, что поражающая странность и своеобразная красота этих фресок обусловлены значительным местом, занимаемым в них символом; и то обстоятельство, что он был изображен не как символ, ибо символизированная идея нигде не была выражена, но как нечто реальное, нечто действительно испытываемое и материально осязаемое, придавало значению произведения как бы большую буквальность и большую точность, придавало его назидательности большую наглядность и большую действенность. То же самое можно сказать и о нашей бедной судомойке: разве наше внимание не привлекалось беспрестанно к ее животу благодаря отягчавшему его бремени? И разве мысль умирающих не бывает чаще всего обращена к реально осязаемой, болезненной, темной, утробной стороне смерти, к ее изнанке, являющейся как раз той стороной, которую она им открывает, дает грубо почувствовать и которая гораздо больше похожа на сокрушительную тяжесть, на трудность дыхания, на мучительную жажду, чем на отвлеченное понятие, называемое нами смертью?

Эти падуанские Добродетели и Пороки, наверное, были написаны с огромным реализмом, если они казались мне такими же живыми, как беременная служанка, и если сама она казалась едва ли в меньшей степени аллегорической, чем они. И может быть, это неучастие (по крайней мере, кажущееся) души человека в добродетели, действующей через него, имеет, помимо своей эстетической ценности, если не психологическую, то, во всяком случае, как говорится, физиономическую реальность. Когда в последующей своей жизни мне доводилось встречать, в монастырях например, подлинно святые воплощения деятельного милосердия, то у них бывал обыкновенно живой, решительный, невозмутимый и грубоватый вид очень занятого хирурга, лицо, на котором невозможно прочесть никакого соболезнования, никакой расстроганности зрелищем человеческого страдания, никакого страха прикоснуться к нему, лицо, лишенное всякой мягкости, непривлекательное и величественное лицо подлинной доброты.

В то время как судомойка – неволью сообщая блеск превосходству Франсуазы, как Заблуждение по контрасту делает более блистательным торжество Истины, – подавала кофе, который, по мнению мамы, был не более чем горячей водичкой, и приносила затем в наши комнаты горячую воду, которая была только чуть теплой, я растягивался на кровати, с книгой в руке, в своей комнате, трепетно охранявшей свою зыбкую прозрачную свежесть от послепопуденного солнца, луч которого все же ухитрился просунуть сквозь шелку в прикрытой ставне золотистые свои крылья и замирал неподвижно в уголке оконной рамы, словно застывший на цветке мотылек. В комнате царил полумрак, едва позволявший читать, и ощущение яркого дневного света давал мне только доносившийся с улицы Кюр стук (это Камю, извещенный Франсуазой, что тетя не «отдыхает» и что можно, значит, шуметь, заколачивал какие-то пропыленные ящики), который, отдаваясь в гулком воздухе, характерном для жаркой погоды, казалось, каскадом рассыпал далеко кругом кроваво-красные звезды; а также мухи, исполнявшие передо мной, в негромком концерте, своеобразную летнюю камерную музыку; музыка эта не

вызывает представления о лете таким способом, как мелодия человеческой музыки, услышанная случайно в погожий летний день, напоминает нам его впоследствии, — она соединена с летом более тесной и более необходимой связью: рожденная солнечными днями и возрождающаяся лишь вместе с ними, заключающая в себе какую-то частицу их сущности, она не только пробуждает их образ в нашей памяти, но служит гарантией их возврата, их действительного присутствия, обступающего нас со всех сторон и как бы непосредственно осязаемого.

Этот прохладный полумрак моей комнаты был по отношению к яркому свету, заливавшему улицу, тем, чем тень является по отношению к солнечному лучу, то есть таким же лучезарным, как и солнечный свет, — он рисовал моему воображению целостную картину лета, лишь частями которой могли бы наслаждаться мои чувства, если бы я отправился на прогулку; таким образом, он отлично гармонировал с моим покоем, испытывавшим (благодаря приключениям, рассказанным в моих книгах и как раз в это время волновавшим его), подобно руке, неподвижно покоящейся в текучей воде, толчки и движение мнящегося потока жизни.

Но бабушка, даже если слишком жаркая погода портилась и раздражалась гроза или налетал шквал, поднималась ко мне и упрасивала меня выйти на свежий воздух. И, не желая расставаться со своей книгой, я шел с нею в сад, под старый каштан, забирался в обтянутую полотном плетеную будочку, усаживался там и чувствовал себя скрытым от взоров лиц, которые могли бы прийти к нам в гости.

И мысли мои не были разве тоже своего рода убежищем, в глубине которого я чувствовал себя укрытым, даже когда смотрел на происходившее вне меня? Когда я видел какой-нибудь внешний предмет, сознание, что я вижу его, оставалось между мною и им, окружало его тонкой невещественной оболочкой, делавшей для меня навсегда недоступным прямое соприкосновение с его материей: она как бы обращалась в газообразное состояние, прежде чем я успевал прикоснуться к ней, вроде того как накаленное тело, приближаемое к смоченному предмету, не способно прикоснуться к его влажности, потому что такой предмет всегда оказывается отделенным от него слоем паров. На своего рода экране, пестревшим различными чувствами и впечатлениями, которые, во время моего чтения, развертывало передо мной мое сознание и источником которых являлись как самые затаеннейшие мои чаяния, так и чисто внешнее восприятие полоски горизонта, тянувшейся перед моими глазами в конце сада, — самым интимным из моих переживаний, рисовавшимся прежде всего на этом экране, рулем, беспрестанно находившимся в движении и управлявшим всем прочим, была уверенность в философском богатстве и красоте читаемой мною книги и мое желание усвоить их себе, какова бы ни была эта книга. Ибо если даже я покупал ее в Комбре, заметив ее в лавочке Боранжа, находившейся слишком далеко от нашего дома для того, чтобы Франсуаза могла делать там свои закупки, как у Камю, но имевшей более богатый выбор канцелярских принадлежностей и книг, — если даже, повторяю, я замечал ее привязанной веревочками к мозаике брошюр и номеров ежемесячных журналов, покрывавших обе створки дверей лавочки, более таинственных и более изобилующих мыслями, чем двери какого-нибудь средневекового собора, то ее приобретение объяснялось тем, что я слышал о ней отзыв как о замечательном произведении из уст преподавателя или школьного товарища, владевшего в то время, как мне казалось, тайной истины и красоты, сущностей смутно угадываемых мною и наполовину мне непонятных, познание которых было неясной, но неизменной целью моего мышления.

Вслед за этой срединной уверенностью, находившейся во время моего чтения в непрерывном движении изнутри вовне, к открытию истины, шли эмоции, вызываемые во мне действием, в котором я принимал участие, ибо в эти летние послепопуденные часы случалось больше драматических событий, чем их случается часто в течение целой жизни. Это были события, наполнявшие читаемую мною книгу. Правда, персонажи, которые принимали в них участие, не были «реальными», как говорила Франсуаза. Но все чувства, пробуждаемые в нас радостями и горестями какого-нибудь реального лица, возникают в нас не иначе как

через посредство образов этих радостей и этих горестей; изобретательность первого романиста состояла в уяснении того, что единственным существенным элементом в структуре наших эмоций является образ и что поэтому упрощение, заключающееся в вытеснении, сполна и начисто, реальных персонажей, окажется решающим усовершенствованием. Какую бы глубокую симпатию мы ни испытывали к реальному существу, оно в большей своей части воспринимается нашими чувствами, иными словами, остается непрозрачным для нас, ложится мертвым грузом, который наше чувственное восприятие не способно поднять. Допустим, что такое существо постигает несчастье: мы можем почувствовать волнение по этому поводу лишь в связи с маленькой частью сложного понятия, которое мы имеем о нем; больше того: само это существо может быть взволновано лишь в небольшой части сложного понятия, которое оно о себе имеет. Счастливое открытие первого романиста заключалось в том, что его осенила мысль заменить эти непроницаемые для души части равным количеством нематериальных частей, то есть частей, могущих быть усвоенными нашей душой. При таких условиях не важно, что действия и чувства этого нового вида существ только кажутся нам истинными: ведь мы сделали их своими, ведь в нас самих происходят они, ведь они держат в подчинении у себя, когда мы лихорадочно перелистываем страницы книги, ускоренный темп нашего дыхания и напряженность нашего взгляда. И раз только романист привел нас в это состояние, в котором, как и во всех чисто внутренних состояниях, всякое чувство приобретает удесятенную силу, в котором его книга волнует нас подобно сновидению, но сновидению более ясному, чем те, что мы видим, когда спим, и воспоминание о котором сохранится у нас дольше, — стоит только романисту привести нас в это состояние, как, глядишь, в течение часа он дал нам возможность испытать все радости и все горести, тогда как для познания лишь немногих из них в действительной жизни нам понадобились бы долгие годы, причем самые яркие навсегда остались бы недоступны для нас, ибо медленность, с которой они протекают, препятствует нам воспринять их (так и сердце наше изменяется в жизни, и это горчайшая наша мука; но мы знаем об этом только из чтения, только путем воображения; в действительности оно изменяется подобно тому, как протекают некоторые явления природы, слишком медленно, так что хотя нам доступно последовательное констатирование каждого из его различных состояний, зато мы пощажены от непосредственного ощущения самого изменения).

Уже далеко не столь интимно связанный с моим существом, как жизнь героев повести, следовал затем, наполовину вынесенный мною за пределы моего сознания, пейзаж, в котором разворачивалось действие и который оказывал на мою мысль гораздо большее влияние, чем другой пейзаж, тот, что расстилался перед моими глазами, когда я поднимал их от книги. Таким-то образом в течение двух летних каникул, сидя на жаре в нашем саду в Комбре, я страстно тосковал, благодаря книге, которую читал тогда, по гористой стране с быстрыми реками, где я видел множество лесопилен и где, на дне потоков с прозрачной водой, гнили стволы деревьев в зарослях жерухи; невдалеке тянулись невысокие стены, увитые гирляндами фиолетовых и красноватых цветов. И так как мечта о женщине, которая любила бы меня, никогда не покидала моих мыслей, то в те два лета мечта эта была напоена прохладой горных речек; и кто бы ни была эта женщина, образ которой я вызывал в своем сознании, тотчас же по обеим ее сторонам вырастали гирлянды фиолетовых и красноватых цветов, как дополнительные краски.

Происходило это не только потому, что образ, о котором мы мечтаем, всегда остается отмеченным, всегда украшается и обогащается отблеском странных красок, случайно окружающих его в наших мечтах; пейзажи, описываемые в книгах, которые я читал, были для меня не просто пейзажами, вроде тех, что расстилал перед моими глазами Комбре, и лишь живее рисовавшимся моему воображению. Благодаря сделанному автором выбору, благодаря доверию, с которым мысль моя предвосхищала его слова точно откровение, пейзажи эти казались мне — впечатление, едва ли полученное мною когда-нибудь от местности, где мне действительно случалось бывать, и особенно от нашего сада, неказистого произведения весьма небогатой фанта-

зии садовника, которого так презирала бабушка, – подлинным куском самой Природы, достойным изучения и углубленного проникновения.

Если бы мои родные позволили мне, в то время как я читал какую-нибудь книгу, посетить страну, которую она описывала, то, казалось мне, я сделал бы огромный успех в овладении истиной. В самом деле, хотя нам всегда присуще ощущение, что мы со всех сторон окружены своей душой, однако она не представляется нам в виде неподвижной темницы; скорее нам кажется, что мы уносимся вместе с ней в беспрестанном стремлении вырваться из нее, достичь внешнего мира, но с отчаянием неизменно слышим вокруг себя все те же звуки, являющиеся не эхом, доносящимся извне, но отголоском какой-то внутренней вибрации. Мы пытаемся найти в вещах, ставших от этого драгоценными, отблеск, который душа наша бросила на них, и бываем разочарованы, когда констатируем, что в действительности они оказываются лишенными обаяния, которым были обязаны в наших умах соседству с известными мыслями; иногда мы мобилизуем все силы нашей души и выстраиваем их в блестящем порядке, чтобы воздействовать на существа, которые, как мы хорошо чувствуем, находятся и навсегда останутся вне пределов нашего достижения. Вот почему, если я всегда воображал вокруг любимой женщины места, в те времена наиболее для меня желанные, если мне хотелось, чтобы именно она побудила меня посетить их, открыла мне доступ в неведомый мир, то это объяснялось вовсе не случайностью простой ассоциации представлений; нет, причина этого та, что мечты мои о путешествии и о любви были только двумя моментами, которые я искусственно разделяю сегодня, вроде того как я производил бы сечения на различных высотах переливающейся радужными цветами и с виду неподвижной водяной струи, – двумя брызгами в едином неудержимом всплеске всех моих жизненных сил.

В заключение, продолжая следовать от самых интимных своих состояний к впечатлениям поверхностным, одновременно данным и тесно соприкасающимся с ними в моем сознании, я нахожу, перед тем как достигнуть окружающего их реального горизонта, удовольствия иного порядка: удовольствие вдыхать напоенный ароматом воздух, сознавать, что мне здесь не мешает зашедший к нам в это время гость; наконец, когда били часы на колокольне Сент-Илер, – удовольствие наблюдать, как опадает, капля за каплей, истраченная уже часть послеполуденного времени, пока до меня не доносился последний удар, позволявший мне определить их число; и воцарявшееся затем долгое молчание, казалось, возвещало о том, что в голубом небе надо мною начинается длинная часть дня, еще остававшаяся в моем распоряжении для чтения до вкусного обеда, приготавливаемого сейчас Франсуазой, который подкрепит меня после утомления, причиненного напряженным следованием во время чтения книги за перипетиями ее героя. И при каждом бое часов мне казалось, что прошло всего только несколько мгновений с тех пор, как отзвучали удары предшествующего часа; самый последний из этих ударов только что запечатлелся в непосредственном соседстве с предшественником на поверхности неба, и я не мог поверить, что шестьдесят минут могли уместиться на этом маленьком отрезке голубой дуги, заключенном между их двумя золотыми отметками. Случалось даже, что этот преждевременный бой заключал в себе на два удара больше предыдущего, – промежуточного боя я, следовательно, не слышал, – нечто, имевшее место в действительности, не имело места для меня; интерес к чтению, магический, словно глубокий сон, ввел в заблуждение мои галлюцинирующие уши и стер звук золотого колокола с лазурной поверхности тишины. Прекрасные воскресные послеполуденные часы под каштаном нашего сада в Комбре, тщательно очищенные мною от всех мелких событий моей повседневной жизни и заполненные жизнью, богатой фантастическими приключениями и причудливыми замыслами, в лоне местности, орошенной быстро бегущими речками, – вы все еще вызываете в моей памяти эту жизнь, когда я о вас думаю, и вы действительно содержитесь в себе, ибо мало-помалу вы ограждали и замыкали ее – в то время как я все дальше углублялся в мою книгу и постепенно спадал полуденный жар

– в непрерывно нараставший, медленно менявший форму и испещренный листвою каштана кристалл вашей безмолвной, звонкой, благоуханной и прозрачно-ясной череды!

Иногда в самый разгар моего чтения я бывал отвлечен от книги дочерью садовника, вбежавшей во двор как угорелая, опрокидывая на пути кадку с апельсинным деревом, обрезывая палец, выбивая зуб, с криком: «Идут! Идут!» Этими возгласами она приглашала Франсуаза и меня бежать скорее на улицу, чтобы ничего не потерять из зрелища. Это случалось в дни, когда гарнизон, расквартированный в Комбре, выходил из казарм на какое-нибудь учение, направляясь обыкновенно по улице Сент-Гильдегард. В то время как наши слуги, усевшись рядышком на стульях за садовой оградой, смотрели на горожан, совершавших воскресную прогулку, и себя им показывали, дочь садовника замечала сверкание касок в просвет между двумя отдаленными домами на Вокзальном бульваре. Слуги стремительно бросались со своими стульями обратно в сад, ибо когда кирасиры дефилировали по улице Сент-Гильдегард, они заполняли ее во всю ширину, и галопирующие их лошади касались стен домов, затопляя тротуары, как разлившаяся река затопляет берега слишком узкого русла.

– Бедные дети, – со слезами на глазах говорила Франсуаза, едва только подойдя к решетке, – бедные юноши: они будут скошены, как трава на лугу, одна мысль об этом потрясает меня ужасом, – прибавляла она, прикладывая руку к сердцу – месту, в котором она ощущала потрясение.

– Разве не красивое зрелище, мадам Франсуаза, представляют все эти парни, не дорожающие жизнью? – спрашивал садовник, чтобы подзадорить ее.

Слова его оказывали действие:

– Не дорожающие жизнью? Но чем же тогда дорожить, если не жизнью, единственным подарком, который Бог никогда не делает дважды. Увы! Вы правы! Они действительно не дорожат ею. Я видела их в семидесятом году; да, в этих злосчастных войнах они совсем забывают о страхе смерти; ни дать ни взять полоумные; и потом, они не стоят даже веревки, чтобы повесить их; это не люди, это львы. – (Для Франсуазы сравнение человека со львом – она произносила это слово с тем выражением, с каким мы произносим: дикий зверь, – не содержало в себе ничего лестного для человека.)

Улица Сент-Гильдегард заворачивала слишком круто, чтобы мы могли видеть приближение солдат издали, и лишь в упомянутый выше просвет между двумя домами Вокзального бульвара мы замечали движение все новых касок, сверкавших на солнце. Садовнику очень хотелось знать, долго ли они еще будут идти, так как солнце жарило и он чувствовал жажду. Тогда дочь его выбегала вдруг за ограду, делала вылазку, словно из осажденного города, достигала поворота улицы и, сотню раз рискуя жизнью, возвращалась, принося нам, вместе с графином прохладительного напитка, известие, что, по крайней мере, целая тысяча солдат безостановочно движется в сторону Тиберзи и Мезеглиза. Примирившиеся Франсуаза и садовник рассуждали о том, какого поведения следует держаться во время войны.

– Поверьте, Франсуаза, – говорил садовник, – революция лучше войны, потому что когда объявляют ее, то сражаться идут только желающие.

– Ах да! Это, по крайней мере, понятно для меня, это более честно.

Садовник был уверен, что по объявлении войны останавливается движение на всех железных дорогах.

– Ну да, конечно: чтобы никто не мог убежать, – говорила Франсуаза.

Садовник поддерживал ее замечанием: «О, это хитрецы!» – так как, по его мнению, война была не чем иным, как только ловкой штукой государства, пытающегося одурачить народ, и что не нашлось бы ни одного человека на свете, который не увильнул бы от нее, если бы представлялась возможность.

Но Франсуаза торопилась обратно к тете, я возвращался к своей книге, а слуги снова усаживались у ворот смотреть, как пыль садится на мостовую и как затихает возбуждение,

вызванное солдатами. Еще долго спустя после восстановления спокойствия необычная толпа гуляющих продолжала усеивать улицы Комбре. И перед каждым домом, включая и те, из которых обыкновенно никто не показывался, слуги и даже хозяева, усевшись на лавочке и глаза на улицу, обрамляли пороги прихотливой темной каймой, вроде каймы водорослей и раковин, которую высокий прилив оставляет на берегу, покрывая его как бы узорчатым флером, после того как море ушло прочь.

За исключением таких дней, я мог обыкновенно спокойно отдаваться чтению. Но однажды визит Свана, прервавший мое чтение, и сделанное им замечание о совсем новом для меня авторе, Берготе, книгу которого я как раз в то время читал, привели к тому, что, долгое время спустя, образ одной из женщин, составлявших предмет моих мечтаний, стал рисоваться перед моими глазами уже не на фоне стены, увитой гирляндами фиолетовых цветов, а на совсем другом фоне, на фоне портала готического собора.

В первый раз услышал я о Берготе от одного из своих школьных товарищей по фамилии Блок, который был несколько старше меня и от которого я был в самом неподдельном восхищении. Услышав от меня однажды выражение восторга по поводу «Октябрьской ночи», он шумно, как труба, расхохотался и сказал мне: «Отнесись критически к твоему в достаточной степени низменному пристрастию к почтенному Мюссе. Это субъект весьма злобный и влияние оказывает самое пагубное. Должен, впрочем, признать, что он, и даже совсем почтенный Расин, оба сочинили в своей жизни по одному стиху, не только достаточно ритмичному, но и лишенному решительно всякого смысла, что в моих глазах является высшей заслугой поэта. Вот эти стихи: «La blanche Oloossone et la blanche Camire»<sup>7</sup> и «La fille de Minos et de Pasiphaë»<sup>8</sup>. Они были мне указаны как обстоятельство, смягчающее вину этих двух мошенников, в статье моего дорогого учителя, папаши Леконта, лицезрение которого приятно бессмертным богам. Кстати, вот книга, которую мне сейчас некогда прочесть и которую как будто рекомендует этот простофиля. Как мне передавали, он считает автора ее, некоего почтенного Бергота, одной из самых субтильнейших бестий; и хотя он обнаруживает подчас в своей критике совершенно необъяснимую снисходительность, все же слова его являются для меня дельфийским оракулом. Почитай поэтому лирическую прозу Бергота, и если титанический собиратель ритмов, написавший «Бхагавата» и «Борзую Магнуса», сказал правду, то, клянусь Аполлоном, ты насладишься, дорогой мэтр, нектаром олимпийских богов». Саркастическим тоном он как-то попросил меня называть его «дорогим мэтром» и сам называл меня так же. Но мы испытывали некоторое подлинное удовольствие от этой игры, ибо еще недалеко ушли от возраста, когда, давая название вещи, мы считаем, будто творим ее.

К несчастью, разговоры мои с Блоком на эту тему и спрошенные у него объяснения не могли успокоить тревоги, в которую он поверг меня, сказав, что хорошие стихи (от которых я ожидал не более и не менее, как откровения истины) бывают тем лучше, чем меньше в них смысла. Вышло так, что Блок не получил нового приглашения в наш дом. Сначала ему был оказан очень хороший прием. Правда, дедушка утверждал, что каждый раз, как я схожусь с каким-нибудь товарищем ближе, чем с прочими, и привожу его к нам в дом, этот товарищ всегда оказывается евреем – обстоятельство, против которого он не возражал бы принципиально – ведь даже его приятель Сван был еврейского происхождения, – если бы не находил, что я выбираю своих друзей далеко не из лучших представителей этого племени. Вот почему, когда я приводил к себе нового друга, то редко случалось, чтобы дедушка не стал напевать арий из «Жидовки»: «Бог наших отцов» или же «Израиль, порви свои цепи», ограничиваясь при этом, разумеется, одним только мотивом (ти-ла-лам-та-лам, талим); но я боялся, что мой приятель узнает мотив и вспомнит соответствующие слова.

<sup>7</sup> «Белый Олоссон и белая Камира» (фр.).

<sup>8</sup> «Дочь Миноса и Пасифаи» (фр.).

Еще перед тем как увидеть их, по одним только звукам их фамилии, часто не содержащим в себе ничего семитического, дедушка угадывал не только еврейское происхождение тех из моих приятелей, которые действительно были евреями, но еще и некоторые досадные особенности, свойственные иногда их фамилиям.

– А как фамилия твоего приятеля, который приходит к тебе сегодня вечером?

– Дюмон, дедушка.

– Дюмон! Ох, не верю я Дюмону.

И он начинал петь:

Стрелки, смотрите в оба!

Бесшумно, зорко вы должны стеречь.

После чего, задав ряд коварных вопросов по поводу некоторых подробностей, он воскликнул: «Будем на страже! Будем на страже!» – или же, если уже пришла сама жертва, которую он вынуждал, при помощи искусно замаскированного допроса, невольно выдать свое происхождение, довольствовался тем, что внимательно смотрел на нее и еле слышно мурлыкал, желая показать нам таким образом, что у него больше не остается сомнений:

Как? Этого несчастного еврея

Сюда вы направляете шаги? —

или:

Луга отцов, Хеврон, долина неги... —

или еще:

Да, я народа избранного сын.

Эти маленькие странности дедушки не заключали в себе никакого зложелательного чувства по отношению к моим товарищам. Но Блок не понравился моей семье по другим причинам. Началось с того, что он рассердил моего отца, который, увидя, что костюм на нем мокрый, с интересом спросил его:

– Скажите, мосье Блок, неужели погода переменилась и шел дождь? Ничего не понимаю, барометр все время стоял высоко.

Ему удалось добиться лишь следующего ответа:

– Сударь, я совершенно не способен сказать вам, шел ли дождь. Я живу до такой степени в стороне от всяких атмосферических случайностей, что чувства мои не утруждают себя доведением их до моего сознания.

– Бедный мальчик, твой друг какой-то полоумный, – сказал мне отец, когда Блок ушел. – Как! Он не мог даже сказать, какая на дворе погода. Но ведь это так интересно! Болван какой-то.

Далее Блок не понравился моей бабушке, потому что после завтрака, когда она сказала, что чувствует себя немного нездоровой, он заглушил рыдание и вытер слезы.

– Неужели, по-твоему, это может быть искренно, – сказала мне она, – ведь он совсем меня не знает. Разве что это сумасшедший.

И наконец, он вызвал всеобщее недовольство тем, что, опоздав к завтраку на полтора часа и явившись в столовую весь забрызганный грязью, он, вместо того чтобы извиниться, сказал:



– Я никогда не поддаюсь влиянию атмосферных пертурбаций, а также совершенно условных делений времени. Я охотно ввел бы в употребление курение опиума или ношение малайского кинжала, но мне совершенно неизвестно употребление часов и зонтика, этих бесконечно более пагубных и к тому же плоско-мещанских инструментов.

Несмотря на все это, его приняли бы в Комбре. Он не был, однако, другом, которого избрали бы для меня мои родные; в конце концов они согласились допустить, что слезы, вызванные у него недомоганием бабушки, не были притворными; но они инстинктивно или по опыту знали, что порывы нашей чувствительности имеют мало власти над последующими нашими поступками и над всем вообще нашим поведением и что уважение к моральным обязательствам, верность дружбе, терпеливое доведение до конца начатого дела, соблюдение определенного режима гораздо вернее обеспечиваются слепо действующими привычками, чем этими минутными порывами, горячими, но бесплодными. В роли моих приятелей они предпочли бы Блоку мальчиков, которые не давали бы мне больше того, что принято давать друзьям согласно предписаниям буржуазной морали; которые не присылали бы мне неожиданно корзинку фруктов на том основании, что в тот день они подумали обо мне с нежностью, но которые, не будучи способны склонить в мою пользу точные веса обязанностей и требований дружбы по простому капризу своего ума или своего сердца, в то же время не могли бы искривить коромысло этих весов во вред мне. Даже наши несправедливости к ним с трудом заставляют сойти с пути долга эти натуры, образцом которых была моя двоюродная бабушка: находясь уже много лет в ссоре с одной своей племянницей и перестав разговаривать с нею, она не изменила вследствие этого своего завещания, в котором отказывала этой племяннице все свое состояние, так как та была самой близкой ее родственницей и так как это «полагалось».

Но я любил Блока, родные хотели доставить мне удовольствие, и неразрешимые задачи, которые я ставил себе по поводу лишней всякого смысла красоты дочери Миноса и Пасифаи, больше утомляли меня и причиняли мне большие страдания, чем это сделали бы дальнейшие мои беседы с ним, хотя моя мать считала их вредными. И его все же принимали бы в нашем доме в Комбре, если бы однажды после обеда, сообщив мне (сообщение это оказало впоследствии огромное влияние на мою жизнь, сделав ее более счастливой и в то же время более несчастной), что все женщины только и помышляют что о любви и что нет ни одной среди них, сопротивление которой нельзя было бы преодолеть, Блок не поклялся, будто он слышал как-то от лица, в осведомленности которого не может быть сомнений, что моя двоюродная бабушка провела бурную молодость и открыто жила на содержании. Я не мог удержаться от передачи столь важной новости моим родным; когда Блок пришел после этого к нам, его выставили за дверь, и впоследствии, при встречах на улице, он раскланивался со мною крайне холодно.

Но относительно Бергота он сказал правду.

В первые дни, подобно музыкальной мелодии, которая впоследствии будет сводить нас с ума, но которую мы еще не улавливаем, мною вовсе не были восприняты те особенности стиля этого писателя, которые мне суждено было так страстно полюбить. Я не мог оторваться от романа, за чтение которого принялся, но мне казалось, что я увлечен только сюжетом, подобно тому как в первом периоде любви мы ежедневно ходим встречаться с женщиной на какое-нибудь собрание, на какой-нибудь вечер, будучи убеждены, что нас привлекают развлечения, получаемые нами на этих собраниях. Затем я обратил внимание на редкие, почти архаические выражения, которые Бергот любил употреблять в известные моменты, когда скрытая гармоническая волна, затаенная прелюдия оживляли его стиль и сообщали ему подъем, и в эти как раз моменты он принимался говорить «о несбыточной мечте жизни», о «неиссякаемом потоке прекрасных видимостей», о «бесплодных и сладостных муках познания и любви», о «волнующих ликах, навсегда облагородивших величавые и пленительные фасады наших соборов», выражал целую философию, для меня новую, при помощи чудесных образов, и мне казалось, что это именно они вызвали то пение арфа, которое звучало тогда в моих ушах, тот аккомпане-

мент, которому они сообщали что-то небесно возвышенное. Один из этих пассажей Бергота, третий или четвертый по счету, который мне удалось выделить из остального текста, наполнил меня радостью, несравнимой с удовольствием, испытанным при чтении первого пассажа, радостью, которую я ощутил в какой-то более глубокой области своего существа, более однородной, более обширной, откуда, казалось, были устранены всякого рода помехи и перегородки. Произошло это потому, что, узнав в этом пассаже тот же самый вкус к редким оборотам речи, ту же самую музыкальную волну, ту же самую идеалистическую философию, которые содержались и в предыдущих пассажах, хотя я и не отдал себе тогда отчет в том, что именно они являются причиной моего наслаждения, — я не испытал на этот раз впечатления, что передо мною лежит определенный кусок из определенной книги Бергота, чертивший на поверхности моего сознания чисто линейную двухмерную фигуру; мне показалось скорее, что я нахожусь в присутствии «идеального куска» прозы Бергота, общего всем его книгам, куска, которому все аналогичные отрывки, теперь смешавшиеся с ним, сообщили своего рода плотность и объем, как будто расширявшие пределы моего собственного разума.

Я был далеко не единственным поклонником Бергота; он был также любимым писателем одной очень начитанной подруги моей матери; наконец, доктор дю Бульбон до такой степени увлекался только что вышедшей тогда его книгой, что заставлял своих пациентов подолгу ожидать его приема; как раз из его врачебного кабинета и из парка, расположенного в окрестностях Комбре, были брошены первые семена того увлечения Берготом, растения тогда еще очень редкого, но в настоящее время распространенного по всему миру, так что изысканные и пошловатые цветы его можно встретить повсюду в Европе и Америке, вплоть до самой ничтожной деревушки. Подруга моей матери и, по-видимому, доктор дю Бульбон подобно мне любили в произведениях Бергота главным образом мелодическое течение фраз, старинные выражения и наряду с ними выражения очень простые и очень известные, но поставленные им на так выгодно освещенное место, что самое это помещение их, казалось, выдавало какое-то особенное его пристрастие к ним; наконец, в грустных частях его книг, — какую-то грубость, какой-то глухой и почти суровый тон. И он сам, должно быть, чувствовал, что в этом одна из главных прелестей его прозы. Ибо в своих позднейших книгах, когда ему случалось выражать какую-нибудь великую истину или упоминать о каком-нибудь знаменитом соборе, он прерывал свое повествование и в своего рода призыве, риторическом обращении, длинной молитве давал волю тем токам, которые в ранних его произведениях оставались спрятанными внутри его прозы, давали знать о себе только легким волнением на поверхности, токам, может быть еще более сладостным, еще более гармоничным, когда они были таким образом прикрыты, так что невозможно было указать с точностью, где рождается, где замирает их рокот. Эти куски, которые он писал с таким удовольствием, были также и нашими самыми излюбленными кусками. Что касается меня, то все их я знал наизусть. Я испытывал разочарование, когда он продолжал нить своего рассказа. Каждый раз, когда он говорил о предмете, красота которого оставалась до тех пор от меня скрытой, — о сосновых лесах, о грозе, о соборе Парижской Богоматери, о «Гофолии», о «Федре», — какой-нибудь его образ вдруг озарял эту красоту и позволял мне ее воспринять. Поэтому, смутно чувствуя, что вселенная содержит множество частей, которые слабые мои чувства были бы бессильны различить, если бы он не приблизил их ко мне, я желал бы обладать его мнением, какой-нибудь его метафорой обо всем существующем, особенно о тех вещах, которые когда-нибудь я буду иметь случай увидеть сам, в частности о старинных памятниках французского искусства и некоторых морских пейзажах, ибо настойчивость, с которой он возвращался к ним в своих книгах, доказывала, что он считает их богатыми содержанием и таящими в себе неисчерпаемые красоты. К несчастью, его мнения оставались почти вовсе не известными мне. Я не сомневался, что они были в корне отличными от моих собственных мнений, ибо проистекали из неведомого мне мира, до которого я пытался возвыситься; убежденный, что мои мысли показались бы жалкой нелепостью этому совершенному

уму, я так основательно вымарал их все, что, когда случайно мне попадалось в какой-нибудь из его книг суждение, которое я сам уже составил себе, сердце мое наполнялось гордостью, как если бы некое божество, по благодати своей, открыло мне его, объявило правильным и прекрасным. Иногда случалось, что какая-нибудь страница Бергота выражала те же мысли, которые я часто по ночам, когда не мог уснуть, писал бабушке и маме, – выражала так хорошо, что производила впечатление собрания эпиграфов, которые я мог бы поместить в заголовках своих писем. Даже много лет спустя, когда я приступил к писанию своей собственной книги и некоторые мои фразы настолько не удовлетворяли меня, что пропадала охота продолжать, я нашел адекватное выражение своих мыслей у Бергота. Но я способен был наслаждаться такими фразами лишь когда читал их в его произведениях; когда же я сам сочинял их, озабоченный тем, чтобы они в точности отражали все оттенки моей мысли, и опасаясь в то же время, как бы не вышло слишком похоже на Бергота, я не имел времени спрашивать себя, приятно ли будет читать то, что я написал. Но в действительности лишь этого рода фразы, лишь этого рода мысли я подлинно любил. Мои лихорадочные и не достигшие цели усилия сами являлись свидетельством любви, любви, не приносившей мне наслаждения, но глубокой. Вот почему, когда я вдруг находил подобные фразы в произведениях другого, то есть когда они не сопровождались у меня сомнениями, строгой критикой и душевными терзаниями, я вволю ублажал в таких случаях свой вкус к ним, как освобожденный почему-либо от обязанности стряпать повар находит наконец время полакомиться сам. И вот, найдя однажды в какой-то книге Бергота шутку по адресу старой служанки, шутку, которой великолепный и роскошный язык писателя придавал еще большую ироничность, но которая по существу была тою же, что и я часто отпускал по адресу Франсуазы в разговорах с бабушкой, и обнаружив в другой раз, что Бергот не считал недостойным отразить в одном из тех зеркал истины, каковыми являлись его произведения, одно замечание, подобное замечанию, сделанному как-то мною относительно нашего друга г-на Леграндена (причем эти замечания относительно Франсуазы и г-на Леграндена заведомо принадлежали к числу тех, которыми я без колебания пожертвовал бы ради Бергота, будучи убежден, что он не найдет в них ничего интересного), я вдруг испытал ощущение, что моя убогая жизнь и царство истины вовсе не так уж удалены друг от друга, как мне казалось, и что в некоторых пунктах они даже соприкасаются; от вновь полученного доверия к своим силам и от радости я заплакал над страницами писателя; словно в объятиях отца после долгой разлуки.

На основании произведений Бергота я представлял его себе в виде слабого, разочарованного в жизни старика, потерявшего детей и навсегда оставшегося безутешным. Поэтому я читал или, вернее, пел его прозу в большей степени *dolce* и *lento*<sup>9</sup>, чем это было в его намерениях, когда он писал, и самая простая его фраза звучала в моих ушах мягко и нежно. Больше всего я любил его философию, я отдался ей навсегда. Она заставляла меня с нетерпением ожидать возраста, когда я перейду в коллеже в класс, называемый «философией». Но я хотел, чтобы все в нем сводилось к жизни, руководимой мыслью Бергота, и, если бы мне сказали, что метафизики, которыми я буду увлечен тогда, ни в чем не будут походить на него, я почувствовал бы отчаяние влюбленного, поклявшегося в верности на всю жизнь, когда ему говорят, что у него будут впоследствии другие любовницы.

Однажды в воскресенье я был потревожен во время своего чтения в саду Сваном, пришедшим в гости к моим родным.

– Что вы читаете, можно посмотреть? Как, неужели Бергота? Кто же вам указал на его произведения?

Я ответил ему, что Блок.

– Ах да, тот мальчик, которого я видел здесь однажды и который так похож на портрет Магомета II Беллини. Поразительное сходство: те же брови дугою, тот же крючковатый нос,

<sup>9</sup> Нежно и медленно (*ит.*).

те же выдающиеся скулы. Когда он заведет бородку, это будет вылитый Магомет. Во всяком случае, у него есть вкус, ибо Бергот прелестный писатель. – И, увидя на лице моем восхищение перед Берготом, Сван, никогда не говоривший о людях, с которыми он был знаком, сделал из любезности для меня исключение и сказал: – Я хорошо знаком с ним, и, если вам будет приятно иметь его собственноручную надпись на вашем экземпляре, я могу попросить его об этом.

Я не посмел принять это предложение, но засыпал Свана вопросами о Берготе.

– Не могли ли бы вы сказать мне, кто его любимый актер?

– Актер? Нет, не знаю. Но мне известно, что никого из актрис он не считает равной Берма, которую ставит выше всех. Вы видели ее?

– Нет, мосье, родители не позволяют мне ходить в театр.

– Как жаль. Вы должны упросить их. Берма в «Федре», в «Сиде»: это только актриса, если вам угодно, но вы знаете, я не очень верю в «иерархию» искусств. – (И я заметил, как это часто поражало меня в его разговорах с сестрами моей двоюродной бабушки, что, заводя речь на серьезные темы, употребляя выражение, казалось, заключающее в себе определенное суждение относительно какой-нибудь важной темы, Сван заботливо выделял его при помощи особой машинальной и иронической интонации, как бы ставя его в кавычки и делая таким образом вид, что не хочет брать на себя ответственность за него: он как бы говорил: «Иерархия, разве вы не знаете, так называют это смешные люди». Но если это было смешно, почему же в таком случае сам он говорил «иерархия»?) Через мгновение он прибавил: – Игра ее даст вам зрелище столь же благородное, как самое высокое произведение искусства, ну, я не знаю... как, – и он рассмеялся, – как, скажем, королевы Шартрского собора!

До этого разговора мне казалось, что его отвращение высказывать серьезно свое мнение является чертой элегантного парижанина в противоположность провинциальному догматизму сестер моей двоюродной бабушки; и я воображал также, что это было своеобразной манерой того круга, где вращался Сван и где, благодаря естественной реакции против «лирического» энтузиазма предшествовавших поколений, придавалось чрезмерно подчеркнутое значение определенным мелким фактам, некогда считавшимся вульгарными, и было вовсе изгнано из употребления то, что называется «фразой». Но теперь я находил нечто оскорбительное в этой позе Свана по отношению к вещам. Он производил впечатление человека, не решающегося иметь собственное мнение и чувствующего себя спокойно, лишь когда он может с мелочной тщательностью сообщить точные, но несущественные подробности. Но, поступая таким образом, он не отдавал себе отчета в том, что большое значение, придаваемое им точной передаче этих подробностей, было не чем иным, как выражением определенного мнения. Я вспомнил тогда о том вечере, когда я был так опечален тем, что мама не поднимется в мою комнату, и когда он сказал, что балы у принцессы Леонской не представляют никакого интереса. А между тем этого рода удовольствиям он посвящал свою жизнь. Я находил здесь противоречие. Для какой же другой жизни приберегал он серьезные мысли о вещах, суждения, которые ему не приходилось бы ставить в кавычки? При каких условиях собирался он оставить занятия, которые, по его собственному заявлению, были смешными? Я заметил также в манере Свана говорить со мною о Берготе одну особенность, которая, нужно отдать ему справедливость, не являлась его личной особенностью, но была присуща в то время всем почитателям этого писателя, в частности подруге моей матери и доктору дю Бульбон. Подобно Свану, они говорили о Берготе: «Это прелестный ум, такой своеобразный, у него своя собственная манера рассказывать, немного деланная, но такая приятная. Не нужно смотреть на обложку, сразу узнаешь, что это он». Но никто из них не решался сказать: «Это великий писатель, у него огромный талант». Они не говорили даже, что у Бергота вообще был талант. Они не говорили этого, потому что не сознавали его таланта. Нам нужно очень много времени, чтобы признать в своеобразной физиономии какого-нибудь нового писателя совокупность признаков, к которым мы приклеиваем этикетку «большой талант» в нашем музее общих понятий. Именно потому,

что эта физиономия новая, мы не находим ее вполне схожей с тем, что мы называем: талант. Мы говорим скорее: оригинальность, обаяние, изящество, сила, и затем однажды мы отдаем отчет себе, что совокупность всего этого как раз и есть талант.

– Есть ли у Бергота произведения, в которых он говорит о Берма? – спросил я Свана.

– Мне помнится, что он упоминает о ней в своей книжечке о Расине, но эта книжечка, вероятно, распродана. Впрочем, как будто было второе издание. Я соберу справки. Но я могу спросить у Бергота все, что вам угодно, – круглый год он каждую неделю обедает у нас. Это большой друг моей дочери. Они вместе осматривают старые города, соборы, замки.

Так как я не имел никакого понятия об общественной иерархии, то давно уже то обстоятельство, что отец мой находил невозможным для нас бывать у мадам и мадемуазель Сван, не только не роняло их в моих глазах, но, напротив, внушало мне представление об огромном расстоянии, отделявшем их от нас, и окружало их обаянием. Я жалел, что мама не красила волос и не мазала губ, как делала это, слышал я от нашей соседки г-жи Сазра, г-жа Сван, чтобы нравиться – не мужу своему, а г-ну де Шарлюсу; я думал, что она относится к нам с презрением, и был очень опечален этим, главным образом оттого, что лишился возможности видеть ее дочь, которая, как мне говорили, была прехорошенькой девочкой и о которой я часто мечтал, постоянно наделяя ее в своем воображении одним и тем же выдуманным прелестным лицом. Но когда я узнал из разговора с г-ном Сваном, что дочь его жила в таких исключительно счастливых условиях, купалась как в родной стихии в море стольких преимуществ и, спрашивая своих родителей, будет ли у них кто-нибудь за обедом, слышала в ответ эти два ослепительно сверкавшие слога, это имя золотого гостя, являвшегося для нее лишь старым другом семьи: Бергот; когда я узнал, что интимным разговором за столом, соответствовавшим тому, чем были для меня рассуждения моей двоюродной бабушки, являлись для нее речи Бергота на все те темы, которых он не мог коснуться в своих книгах и относительно которых я хотел бы послушать его вещания, и что, наконец, во время ее поездок в другие города он сопровождает ее, неузнанный и славный, как боги, нисходившие в среду смертных, – то я почувствовал всю драгоценность существа, подобного м-ль Сван, и в то же время, каким я покажусь ей неотесанным и невежественным; я так живо испытал всю сладость и всю невозможность для меня быть ее другом, что наполнился одновременно желанием и отчаянием. Чаще всего теперь, когда я думал о ней, я ее видел перед порталом готического собора объяснявшей мне значение статуй и с благожелательной улыбкой представлявшей меня как своего друга Берготу. И неизменно обаяние всех фантастических представлений, навевавшихся мне средневековыми соборами, обаяние холмов Иль-де-Франса и равнин Нормандии сообщалось мысленно составленному мною образу м-ль Сван: мне оставалось только узнать ее и полюбить. Если мы верим, что известное существо причастно неведомой нам жизни, в которую его любовь к нам способна нас ввести, то из всех условий, необходимых для возникновения любви, это условие является для нас самым важным и позволяет ей в большей или меньшей степени обходиться без остальных. Даже женщины, будто бы составляющие суждение о мужчине только по его внешности, видят в этой внешности эманацию особенной жизни. Вот почему они любят военных, пожарных; форма позволяет им быть менее требовательными в отношении наружности; целуя их, женщины думают, что под кирасою бьется особенное сердце, более предприимчивое и более нежное; и молодой государь или наследный принц для одержания самых лестных побед в чужих странах, по которым он путешествует, не нуждается в правильном профиле, являющемся, пожалуй, необходимым для биржевого маклера.

В то время как я читал в саду, – моя двоюродная бабушка была не в силах понять, как я могу предаваться чтению в другие дни, кроме воскресенья, дня, когда запрещено заниматься чем-либо серьезным и когда она сама прекращала свое шитье (в будни она сказала бы мне: «Как! Ты все еще забавляешься чтением; ведь сегодня не воскресенье», – вкладывая в слово

«забавляешься» смысл ребячества и пустого времяпрепровождения), – тетя Леония болтала с Франсуазой в ожидании прихода Евлалии. Она сообщала Франсуазе, что сейчас только видела, как прошла мимо г-жа Гупиль «без зонтика, в шелковом платье, которое она сшила недавно в Шатодене. Если ей нужно сходить куда-нибудь далеко до вечерни, она может порядком промочить его».

– Может быть, может быть (что означало: может быть, нет), – отвечала Франсуаза, не желая окончательно исключать более благоприятную альтернативу.

– Ба! – говорила тетя, хлопая себя по лбу. – Это напомнило мне, что я так и не узнала, поспела ли она сегодня в церковь к возношению даров. Нужно не забыть спросить об этом Евлалию... Франсуаза, взгляните, пожалуйста, на эту черную тучу за колокольной и на шиферные крыши, как скудно они освещены солнцем: наверное, сегодня не обойдется без дождя. Так не может продолжаться, уж слишком большая жара стояла. И чем скорее, тем лучше, потому что пока не разразится гроза, мой виши не окажет действия, – прибавляла тетя, в уме которой желание возможно скорого действия виши было бесконечно более сильно, чем страх, что дождь испортит платье г-жи Гупиль.

– Может быть, может быть.

– А ведь когда дождь захватит на площади, спрятаться почти некуда. Как, уже три часа! – восклицала вдруг тетя, бледнея. – Но в таком случае вечерня уже началась, а я позабыла принять мой пепсин! Теперь я понимаю, почему виши застрял у меня в желудке.

И, поспешно схватив молитвенник в переплете из лилового бархата с золотыми застежками, из которого, благодаря ее торопливому движению, дождем посыпались окаймленные узорным бордюриком из пожелтевшей бумаги картинки, служившие закладками на страницах, посвященных праздничным службам, тетя глотала капли и начинала быстро-быстро читать священные тексты, смысл которых слегка затемнялся для нее неуверенностью, способен ли будет пепсин, принятый через такой большой промежуток времени после виши, догнать воду и заставить ее оказать свое действие на желудок.

– Три часа. Ужасно как быстро идет время!

Слабый удар в оконное стекло, как если бы в него было что-то брошено, затем обильное падение чего-то легкого, словно песка, который кто-то сыпал из верхнего этажа, затем падение ширилось, упорядочивалось, приобретало ритм, становилось текучим, звучным, музыкальным, несметным, всеобъемлющим – это был дождь.

– Ну вот видите, Франсуаза, что я вам говорила? Говорила, что пойдет дождь! Но я как будто слышу колокольчик у садовой калитки; ступайте-ка посмотрите, кто это может прийти в такую погоду.

Возвратившись, Франсуаза сообщала:

– Это г-жа Амедей, – (моя бабушка). – Она сказала, что ходила немного прогуляться. А дождь, однако, здоровый.

– Это ничуть не удивляет меня, – говорила тетя, поднимая глаза к небу. – Я всегда была того мнения, что у нее все не так, как у людей. Как я рада, что это она, а не я в такую погоду на дворе.

– Г-жа Амедей всегда поступает как раз наоборот по сравнению с другими, – мягко замечала Франсуаза, откладывая заявление, что она считает мою бабушку немножко «тронувшейся», до той минуты, когда она останется наедине с другими слугами.

– Вот уж и служба кончилась! Теперь нечего больше ожидать Евлалию, – вздыхала тетя, – в такую погоду она побоится высунуть нос на улицу.

– Но ведь еще нет пяти часов, г-жа Октав, сейчас только половина пятого.

– Только половина пятого? А мне пришлось поднять уже занавески, чтобы сюда попало хоть немножко света. Это в половине пятого! Когда всего какая-нибудь неделя осталась до Рогаций! Ах, бедная моя Франсуаза, должно быть, Господь Бог очень разгневался на нас. Впро-

чем, мы и заслужили это. Как говаривал мой бедный Октав, мы слишком позабыли Бога, и вот он мстит нам.

Яркая краска заливала тетины щеки, – это была Евлалия. К несчастью, едва только она входила к тете, как Франсуаза возвращалась и говорила с улыбкой, предназначавшейся для выражения ее полного участия в удовольствии, которое, она не сомневалась, доставят тете ее слова, отчеканивая каждый слог с целью показать, что, несмотря на косвенную речь, она передает, как подобает хорошему слуге, подлинные слова, которыми удостоил ее только что прибывший гость:

– Его преподобие господин кюре будет обрадован, восхищен, если госпожа Октав не отдыхает сейчас и может принять его. Его преподобие не хочет беспокоить госпожу Октав. Его преподобие внизу; я попросила его пройти в залу.

В действительности посещения кюре не доставляли тете такого огромного удовольствия, как предполагала Франсуаза, и ликующий вид, который она считала долгом напускать на свое лицо каждый раз, как ей приходилось докладывать о его приходе, не вполне соответствовал чувствам больной. Кюре (превосходный человек, и я сожалею, что не разговаривал с ним чаще, ибо, несмотря на свое невежество в искусствах, он был отличным знатоком этимологии), привыкший давать почетным посетителям сведения о церкви (у него было даже намерение написать историю прихода Комбре), утомлял тетю бесконечными объяснениями, которые к тому же были всегда одинаковы. Когда же его визит совпадал с визитом Евлалии, он становился положительно неприятным тете. Она предпочитала до конца использовать Евлалию и не принимать всех своих знакомых сразу. Но она не смела отказать кюре и ограничивалась только тем, что делала знак Евлалии не уходить вместе с кюре, чтобы немного поговорить с ней наедине, когда кюре откланяется.

– Что это мне говорили, господин кюре, будто какой-то художник поставил в вашей церкви мольберт и копирует один из витражей? Я уже долго живу на свете, но могу сказать, никогда еще не приходилось слышать о чем-либо подобном! Чем только не увлекаются теперь люди, удивляюсь. Ведь эти витражи самое мерзкое, что есть в церкви!

– Не решусь утверждать, что они самое безобразное в церкви, ибо если есть в Сент-Илер части, стоящие того, чтобы на них поглядеть, то другие части моей бедной базилики уже порядком обветшали: ведь во всей епархии она единственная никогда не была реставрирована! Боже мой, портал грязен и ветх, но он все же величествен; гобелены с историей Эсфири еще туда-сюда; правда, я лично не дал бы за них медного гроша, но знатоки помещают их почти рядом с гобеленами Санса. Впрочем, я согласен признать, что, наряду с некоторыми чересчур реалистическими деталями, в них есть другие черточки, свидетельствующие о подлинной наблюдательности художника. Но не говорите мне ни слова в защиту витражей. Ну, разве есть какой-нибудь здравый смысл в оставлении окон, которые не пропускают света и даже обманывают зрение бликами какого-то неопределенного цвета, и это в церкви, где нет двух плит, которые лежали бы на одном уровне и которые мне отказывают перемостить под тем предлогом, что это могильные плиты комбрейских аббатов и сеньоров Германтских, некогда графов Брабантских, прямых предков теперешнего герцога Германтского, а также герцогини, его супруги, так как она тоже из рода Германтов и вышла замуж за своего родственника? – (Моя бабушка, которая, благодаря отсутствию всякого интереса к «личностям», дошла до того, что стала путать все имена, каждый раз, когда в ее присутствии упоминали о герцогине Германтской, утверждала, что она должна быть родственницей г-жи де Вильпаризи. Все мы покатывались со смеху; она же пыталась оправдаться, ссылаясь на какое-то пригласительное письмо на свадьбу или крестины: «Мне помнится, там было упоминание о Германте». И единственный раз я бывал в таких случаях на стороне прочих членов семьи, против нее, отказываясь допустить, чтобы существовала какая-нибудь связь между ее пансионской подругой и потомком Женевьевы Брабантской.) – Взгляните на Руссенвиль, – продолжал кюре, – в настоящее время это не более чем приходская

община фермеров, а между тем в прежние времена местность эта, вероятно, процветала, благодаря торговле фетровыми шляпами и стенными часами. – (Я не очень уверен в этимологии Руссенвиля. Я охотно готов допустить, что первоначальное название было Рувиль – Radulfi villa<sup>10</sup> – по аналогии с Шатору – Castrum Radulfi<sup>11</sup>, – но мы поговорим с вами об этом в другой раз.) – Так вот, в тамошней церкви отменные витражи, все почти современные, и в их числе «Въезд Луи Филиппа в Комбре», который был бы более на месте в самом Комбре и, говорят, может соперничать со знаменитыми витражами Шартра. Не далее как вчера я встретил брата доктора Перспье, который понимает толк в этих вещах, и он сказал мне, что считает этот витраж одним из удачнейших достижений в этой области... Но когда я спросил у этого художника, который, впрочем, производит впечатление человека очень воспитанного и является, кажется, настоящим виртуозом кисти, – когда я спросил у него: что вы находите необыкновенного в этом витраже, к тому же еще более тусклом, чем остальные?..

– Я уверена, что, если бы вы попросили его преосвященство, – мягко замечала тетя, уже начинавшая чувствовать утомление, – он не отказал бы вам в новых витражах.

– Надейтесь на это, госпожа Октав, – отвечал кюре. – Но ведь как раз его преосвященство и поднял шум вокруг этого злосчастного витража, доказывая, что он изображает Жильбера Дурного, сеньора Германтского, прямого потомка Женевьевы Брабантской, которая была родом из Германта, получающего отпущение от святого Илера.

– Но где же там святой Илер?

– Представьте, он там есть. Разве вы никогда не обращали внимания на даму в желтом платье в углу витража? Вот это и есть святой Илер, которого, вы ведь знаете, в некоторых провинциях называют также святой Илье, святой Элье и даже, в Юре, святой Или. Впрочем, эти разнообразные искажения латинского Sanctus Hilarius являются далеко не самыми любопытными из числа искажений, которым подверглись имена святых. Возьмем, например, вашу покровительницу, добрейшая Евлалия, Sancta Eulalia; знаете, кем она стала в Бургундии? Святым Элуа, ни больше ни меньше: она стала *святым*. Представьте себе, Евлалия: после вашей смерти вас превратят в мужчину!

– Его преподобие всегда подшучивает над бедной девушкой.

– Брат Жильбера, Карл Косноязычный, был благочестивый принц, но, рано лишившись отца, Пипина Безумного, умершего от последствий душевной болезни, он осуществлял верховную власть со всем высокомерием молодости, не получившей надлежащего воспитания, так что стоило только физиономии какого-нибудь горожанина ему не понравиться, и он истреблял все население города до последнего человека. Жильбер, желая отомстить Карлу, велел сжечь церковь в Комбре, древнейшую церковь, ту, что Теодбер, покидая со своим двором сельскую резиденцию, которая была у него неподалеку, в Тиберзи (Theodeberciacus), и отправляясь в поход на Бургундов, дал обет построить над гробницей Святого Илера, если блаженный поможет ему одержать победу. От этой церкви осталась теперь только крипта, куда Теодор, вероятно, водил вас; все остальное сожжено Жильбером. В конце концов он разбил несчастного Карла с помощью Вильгельма Завоевателя (кюре произносил *Вилельма*), что является причиной частого посещения англичанами этого места. Но ему, по-видимому, не удалось снискать к себе любовь жителей Комбре, ибо они накинулись на него, когда он выходил от мессы, и отсекали ему голову. Впрочем, у Теодора есть книжечка – он дает ее всем желающим, – в которой вы можете найти все подробности этой истории... Но самой любопытной достопримечательностью нашей церкви бесспорно является широкий вид, открывающийся с колокольни. Он поистине грандиозен. Понятное дело, при вашем состоянии я не посоветовал бы вам подниматься на наши девяносто семь ступенек – как раз половина числа ступенек лестницы знамени-

<sup>10</sup> Усадьба Радульфа (лат.).

<sup>11</sup> Лагерь Радульфа (лат.).



того Миланского собора. Есть чему утомить самого здорового человека, тем более что, поднимаясь, вы должны согнуться в три погибели, если не хотите разбить себе лоб, и своим платьем вы сметаєте всю паутину с лестницы. В довершение всего, вам нужно будет тепло одеться, – продолжал кюре, не замечая негодования тети от одной мысли, что она способна вскарабкаться таким образом на колокольню, – потому что, когда вы взберетесь наверх, вас обдаст сильным ветром! Некоторые лица утверждают даже, что они чувствовали там ледяной холод. Но на это не обращают внимания: по воскресеньям всегда набираются группы, подчас приходящие даже издалека, чтобы полюбоваться красивой панорамой, и все уходят очарованные. Да, в следующее воскресенье, если удержится погода, вы, наверное, найдете там множество народа, потому что на это воскресенье приходятся Рогагии. Нужно признать, впрочем, что вид оттуда действительно сказочный: на равнине открываются уголки, каждый из которых обладает своей особенной прелестью. Когда погода ясная, бывает виден даже Вернейль. В довершение всего, оттуда можно сразу обнять взором места, которые обыкновенно вы видите раздельно, например течение Вивоны и рвы Сент-Ассиз-ле-Комбре, от которых река отделена завесой высоких деревьев, или же всю совокупность каналов Жуи-ле-Виконт (*Gaudiacus vice comitis*)<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Отрада виконта (*лат.*).

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.